

Сергей ЮДИН

БЕСЕДЫ О НЕВЕДОМОМ

Беседа I

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

*О, людская бестолковость!
Смертный! Знай, что в жизни сей
Для тебя одна лишь новость:
Смерть — и тайный мир теней.*

А.Н. Майков

Константин Петрович Сопоткин стоял на самой вершине горба похожего на игрушку моста Хафпенни и, облокотившись о чугунный парапет, с пристальным отвлечением смотрел на вяло катившиеся под ним зеленые воды Лиффи. На лице маститого литератора застыла кислая и недовольная гримаса, даже стекла очков плюбескивали слегка презрительно, так что со стороны казалось, будто он вот-вот плюнет вниз и ждет лишь момента, когда из-под моста выплывет какой-нибудь прогулочный катер или, на худой конец, лодка с туристами. Было только около трех пополудни, но вокруг, по случаю воскресенья, сновало уже множество народу: в основном зевак и приезжих, направляющихся с Лиффи-стрит в квартал Темпл-Бар — туристическую Мекку Дублина.

— Неужто все так плохо? Решили свести счеты с жизнью? — послышался за спиной Сопоткина насмешливый голос. — Предупреждаю, этот ручей едва ли глубже и уж точно не чище Яузы. Так что вы рискуете самым жалким образом захлебнуться нечистотами.

Константин Петрович обернулся и увидел долговязую фигуру профессора Горислава Игоревича Костромирова. Увидев же, уверился, что не перевелись еще на этом свете люди, способные выглядеть всегда одинаково свежими и бодрыми, несмотря на явное недосыпание и всяческие вредные излишества. На сей раз историк облачился в некое подобие крылатки и разительно смахивал на карикатурное изображение Шерлока Холмса.

— И вам доброго дня... А где же клетчатое кепи, трость и знаменитая трубка?

— При чем тут трость и кепи? — искренне удивился Костромиров. — А трубку я на ходу не курю. То есть стараюсь не курить. Говорят, это вредно для легких.

— Ладно, проехали... — устало махнул рукой Сопоткин. — Куда направимся? В Темпл-Бар?

— У вас нездоровый вид, — сказал Костромиров и протянул литератору небольшую серебряную флягу.

— Что это? — брызгливо поинтересовался Константин Петрович.

— Коньяк.

— Увольте, — Сопоткин отвел руку историка. — Я более полувека живу на свете и еще ни разу не похмелялся. Не имею такой привычки.

Горислав Игоревич молча пожал плечами и убрал флягу обратно в карман.

Так уж вышло, что оба наших героя — профессор и литератор — познакомились только накануне вечером и к тому же совершенно случайно. Как это произошло и почему именно в Дублине, а равно о том, какие приключения выпали на их долю, мы рассказывать не станем. Зачем засорять память читателя ненужными деталями? Тем

не менее, приятели загодя уговорились встретиться именно в означенное время, дабы совершить прогулку по городу и на свежую голову обсудить ночные события (забегая вперед, заметим, что последнее им так и не удалось).

Погода и обстановка прогулке вполне благоприятствовали: не по-осеннему яркое солнце на почти чистом небе с редкими кучевыми облаками окрашивало дома и все вокруг в сочные цвета кларета; легкий теплый бриз разносил по улицам манящие запахи устриц, пива и жареного картофеля, а вдалеке на синем фоне четко и жизнеутверждающе вырисовывалась длинная, гладкая гряда гор Уиклоу.

— А я ведь, Горислав Игоревич, успел-таки за это время порыться в интернете и кое-что узнать о вашей — оказывается, весьма известной в научных, да и не только научных, кругах — персоне, — нарушил молчание Сопоткин.

— Лучше бы поспали, чем пустяками-то заниматься, — поморщился Горислав Игоревич.

— Ну-ну, не скромничайте, — вяло усмехнулся Сопоткин, тщетно стараясь преодолеть пульсирующую головную боль. — Профессор Института востоковедения, член-корреспондент Российской академии наук, кавалер иностранных орденов... Кстати, почему только иностранных?

— Отечественных не заслужил, — коротко ответил Костромиров.

— Я уж молчу о ваших подвигах на ниве криминалистики... Между прочим, о нашумевшем деле пресловутого «Золотого Лингама» я и прежде был наслышан. Даже имел удовольствие лично знать главу Федеральной антитеррористической службы Шигина Ивана Федоровича. Да-да! Впрочем, иначе как шапочным наше знакомство не назовешь... Кажется, покойник оказался довольно-таки одиозной личностью?

— Оставьте, Константин Петрович. Все это слухи и досужие домыслы, не более. Ума не приложу, как они просачиваются во «всемирную паутину».

Приятели свернули с широкой набережной Веллингтона к Темпл-Бару, и тут дорожку им преградила торжественная процессия крестного хода. Вероятнее всего, многолюдное шествие двигалось от самого собора Крайс-чёрч — Церкви Христовой.

Во всю длину улицы растянулась бесконечная вереница нарядно одетых дублинцев с разноцветными знаменами, свечами и даже факелами. Черно-белые монахини с трудом несли тяжелые розовые хоругви, обильно украшенные золотыми искусственными цветами. Целое полчище что-то гнусаво распеваящих монахов держало на плечах огромное карроччио с исполинской деревянной статуей святого Колумбы, раскрашенной во все цвета радуги, словно египетский фараон. За ними следовали толпы горожан, вооруженных распятиями, увитыми длинными белыми шелковыми лентами; потом снова — монахи и монахини, священники в ризах, носилки с фарфоровыми, похожими на идолов мучениками и мученицами с неизменными букетами в руках, балдахины зеленого бархата, ковчежцы с мощами, вышитые золотом штандарты, — все это колыхалось на ветру в блеске свечей, факелов и солнца, текло, подобно некоей волшебной сверкающей реке под речитатив латинских песнопений и трезвон колоколов невидимых за домами церквей.

Но много достойнее удивления была не собственно процессия, а следовавшая за ней разношерстная толпа в диковинных маскарадных костюмах: черти всех родов и обличий, ведьмы в остроконечных шляпах, вполне узнаваемые персонификации семи смертных грехов и самая смерть со здоровенной бутафорской косой — истошно вопили, свистели, гикали и то и дело затевали промеж собой потешные сражения, негодую, вероятно, что в нынешний святой праздник и их понудили влачиться в церковном обозе и волей-неволей славить Господа и всех его святых.

— Да-а, все-таки не сравнить с нашим крестным ходом, даже и где-нибудь в провинции, в глубинке, — заметил Сопоткин. — Как-то благолепнее, что ли, получаются такие вот шествия у нас, православных... Нет, по крайней мере, этих размалеванных истуканов с кричащей новогодне-елочной позолотой, всего этого дурачества, шутовства и беснующихся комедиантов... А тут не поймешь, что перед тобой: церковный праздник или карнавал!

— А мне нравится, — возразил Костромиров. — Чем-то напоминает Сатурналии, а может — японское Мацури или религиозные церемонии у индусов. Не доводилось бывать в Ориссе? Очень похоже. Эдакая священная колесница Джаганнатхи, не хватает только бросающихся под ее колеса исступленных аколитов.

— Скажите, Горислав Игоревич, — со слабой улыбкой поинтересовался Сопоткин, когда процессия наконец скрылась за поворотом, — вчерашние события не поколебали ваш скептицизм?

— Скептицизм? Что вы имеете в виду? — Костромиров чуть замедлил шаг, повернулся к собеседнику и удивленно приподнял кустистые брови.

— Ну как же! Я разумею отрицание реальности призраков и вообще ваши взгляды на возможность... точнее, невозможность посмертного существования.

— Нет, не повлияли, — просто ответил Костромиров.

— Вот как? Отчего же? Разве вам не показались некоторые явления, которые нам вчера довелось наблюдать, довольно... довольно загадочными?

— Почему не показались? Показались. Но, знаете, я привык всему, любым событиям, даже и загадочным на первый взгляд, искать прежде всего наиболее простые, а значит — реалистичные, объяснения.

— Ну и как? Нашли?

— Пока нет.

— Вот видите! Вы просто не желаете признавать, что столкнулись на сей раз с феноменом, недоступным для понимания. Необъяснимым феноменом!

— Скорее, необъясненным, — возразил Костромиров. — Пока не объясненным. Вообще, замечали, когда те или иные наши ощущения не соответствуют установившимся понятиям, мы склонны тут же объявлять их «удивительным чудом». Но, дорогой Константин Петрович, согласитесь, нельзя же любые феномены, для которых нет еще научного обоснования, считать заведомо чудесными. Кажется, еще Эйнштейн говорил, что все развитие нашего умственного мира представляет собой в известном смысле именно то самое преодоление чувства удивления — непрерывное бегство от чуда.

— Черт возьми! Полагаю, явись вам самолично архангел Михаил с мечом огненным, вы и тогда стали бы доискиваться пресловутого научного обоснования.

— Вы совершенно правы, стал бы, — согласился Костромиров.

Беседа зашла в тупик, и некоторое время друзья шли молча, но уже через минуту Сопоткин возобновил разговор неожиданным вопросом:

— Вы читали что-нибудь Рэймонда Моуди? Ну, знаете, довольно известный американский врач-терапевт?

— Моуди? Постойте... Это не тот, который написал «Жизнь после смерти»?

— «Жизнь после жизни», — уточнил Константин Петрович. — Да, он самый.

— Стало быть, читал.

— А его книгу «Свет по ту сторону»?

— Нет, мне и первого опуса хватило за глаза. Судя по названию, ничего принципиально нового во второй книге не содержится.

— Надо ли ваши слова понимать так, что вы ставите под сомнение добросовестность этого автора?

— Отнюдь. Думаю, он предельно добросовестен в своих исследованиях.

— Как же так? Исследования Моуди не оспариваете, а посмертное существование души отрицаете? Неувязочка, однако.

— Никакой неувязочки... А что это вас так вопрос посмертного существования беспокоит? Может, вы сами обладаете некоторым опытом по этой части? Побывали «по ту сторону»?

— Да, побывал, — сдержанно и с достоинством ответил Сопоткин.

— Ах, так... Ну что ж, в таком случае, прошу извинить за неуместный сарказм.

— Бросьте, пустяки. Однако мне действительно довелось однажды пережить коматозное состояние, клиническую смерть. Понятное дело, раз уж мы с вами сейчас разговариваем — реанимация прошла успешно...

— Сожалею... Тьфу, дьявол! То есть поздравляю... или... Короче, все хорошо, что хорошо кончается.

— Да уж. Так вот, как побывавший там, могу с полной ответственностью подтвердить аутентичность изысканий доктора Моуди. «Опусы» его (как вы изволили выразиться) вполне согласуются с тем, что и мне было явлено...

— Постойте, угадаю, — перебил Костромиров литератора. — Итак, перво-наперво, сознание ваше отделилось от физической оболочки — вы, вернее, ваш дух, со стороны наблюдали собственное бездыханное тело, над которым хлопочут врачи. Но духовная субстанция ваша отнюдь не задержалась около места кончины. Нет! Неведомая властная сила затянула ее в некий темный проход или тоннель, в конце которого, натурально, виднелся свет... Наконец, вы оказались в каких-то садах, настоящих райских кущах, где испытали неведомые доселе умиротворение, радость и блаженство, умноженные неожиданной встречей с ранее умершими родственниками и друзьями. Ага. И тут некое безликое, но лучезарное создание объявило вам, то бишь вашей бестелесной психее, пренеприятное известие: дескать, рановато прибыл, ступай-ка назад, в юдоль земную. Естественно, необходимость возвращения из эдакого благолепия, прямо-таки из земли обетованной, в брэнную оболочку ничего, кроме разочарования и горя, у вас не вызвала...

— Довольно! — не без раздражения остановил собеседника Константин Петрович. — Хватит. Да, признаю, вы достаточно точно описали переживания, испытанные мною во время пограничного состояния. И что?

— Еще раз простите. Я вовсе не хотел вас как-то обидеть.

— Речь не об этом. Я к тому, что угадывать вам ничего не пришлось, вы просто воспользовались тем, что практически все пережившие клиническую смерть наблюдали одну и ту же картину, с незначительными вариациями. То есть те из нас, которые вообще что-нибудь видели... Вот и весь фокус. Только что это, по-вашему, доказывает?

— А по-вашему? — вопросом на вопрос ответил Костромиров.

— По-моему, все очевидно: мы имеем дело, вне сомнения, с весьма широко распространенным феноменом. Известно ли вам, Горислав Игоревич, что СВС — «состояние временной смерти» — испытали, судя по опросам, проведенным еще в восьмидесятых годах Институтом Гэллага, свыше девяти миллионов человек? И это только в Америке! На сегодняшний день счет идет уже на десятки миллионов. И все эти миллионы наших современников (включая и вашего покорного слугу) на собственном опыте убедились в достоверности данных, приводимых доктором Моуди. По подсчетам медиков, феномен СВС испытывают на себе тридцать пять — сорок процентов лиц, которые прошли через клиническую смерть, и число их неуклонно возрастает...

— Заметьте, чаще всего это женщины, — вставил Костромиров. — Как вы думаете, почему?

— Хотите сказать, что женщины более впечатлительны? Ну и что? Да, нередко они обладают более тонкой психикой, более деликатным и восприимчивым душевным складом... Дело не в этом.

— Так в чем же?

— А в том, что ежегодно десятки миллионов людей по всему миру воочию убеждаются в существовании потустороннего мира. И видения их буквально в деталях согласуются друг с другом. Что опять-таки лишь подтверждает их истинность. Подумайте, десятки миллионов! Разве это не впечатляет? Разве можно от этого так просто отмахнуться?

— Вы правы, — согласился Костромиров, — от подобных массовых феноменов нельзя отмахиваться. В них нужно вдуматься.

— Вот видите! — торжествующе воскликнул Константин Петрович. — А где же ваш хваленый скептицизм?

— Он куда не денся. И я готов дать развернутый ответ на ваш вопрос. Но сначала давайте условимся о терминологии... Не находите, дорогой Константин Петрович, что само употребленное вами понятие, вернее, сам термин, «состояние временной смерти» абсолютно некорректен?

— Это еще почему?

— Так ведь пресловутая «клиническая смерть» тем и отличается от настоящей, что это вовсе даже не смерть в буквальном понимании сего слова. Мозг-то продолжает работать, наиболее фундаментальные процессы в нем все еще действуют. И, собственно, реанимация возможна лишь до того мгновения, пока энтропия или стагнация мозговой деятельности не достигла необратимого предела. Невозможно оживить по-настоящему мертвого человека. То есть такого, у которого клиническая, «мнимая», смерть перешла в самую что ни на есть натуральную.

— Не берусь этого отрицать, — Константин Петрович нетерпеливо пожал плечами. — Я, знаете ли, не медик. Но, опять-таки, что, собственно, доказывает ваше уточнение? Не понимаю... Хорошо, давайте заменим мой термин. Не вижу никаких причин, отчего бы не именовать «состояние временной смерти» как-нибудь иначе. Например, «состояние, близкое к смерти», СБС. Так, кажется, и у самого Моуди. В чем тут отличие? Что меняется-то?

— Ага. Я понял. То есть для вас не имеет принципиального значения, когда именно «потустороннее» видение посетило того или иного человека. Я прав?

— Ну... почти. Впрочем, да, правы! Не станете же вы утверждать, будто кому-то на земле ведомо, когда именно душа должна отделиться от тела: в момент клинической или настоящей смерти?

— Разумеется, не стану, — заверил Костромиров. — Однако хотел бы подчеркнуть, что согласно вашей логике, отделение души — по крайней мере, временное — вполне возможно и во многих иных состояниях и ситуациях. К примеру, во сне, при потере сознания. Или в результате экстатического трансa. Верно?

— Да. Полагаю, и такое отнюдь не исключено, — не стал спорить Константин Петрович.

— Замечательно! — Горислав Игоревич с явным удовлетворением потер руки. — Отлично! Я просто хотел именно что условиться о терминологии. До того, как продолжить нашу с вами мистико-эмпирическую дискуссию... Но прежде давайте-ка уйдем из Темпл-Бара — тут становится слишком людно, чересчур много туристов — и поищем какое-нибудь более уединенное место для разговора. Что скажете о «Парке Ее Величества, именуемом Феникс»?

— О нет! Только не Феникс-парк. Излишне близко к Чейплизоду. Да и побывали мы уже там.

— Тогда, может, Сент-Стивенс-Грин? Он и недалеко, можно пешком дойти.

— Парк святого Стефана? Согласен. Чудесный уголок. Кроме того, там, кажется, есть старое Гугенотское кладбище, а я его еще не успел посетить.

— Ах, да. Ваше эссе о некрополях... Отлично, идемте. Кстати, а на этом кладбище у вас часом нет знакомого сторожа?

— Нет. Говорю же, я там еще не бывал.

— Это обнадеживает.

Константин Петрович улыбнулся, чувствуя, как слабеет головная боль. Перед встречей он проглотил целые три таблетки аспирина, теперь они, наконец, начали действовать.

Прятели свернули на запад, углубились в запутанный лабиринт маленьких, мощенных брусчаткой улочек, вышли на Фишамбл-стрит, миновали по какой-то замысловатой синусоиде Дублинский замок, Унитарную церковь, Королевский хирургический колледж и уже через полчаса стояли перед главным входом в городской парк святого Стефана — Воротами стрелков.

— Вы не находите, что эти ворота разительно напоминают триумфальную арку Тита Флавия? — поинтересовался Костромиров у Сопоткина.

— Да, об этом написано в путеводителе, — не без ехидства ответил тот, проходя вслед за историком в парк.

— Никогда не читаю путеводители, — недовольно проворчал Костромиров. — И вообще, если приглядеться, они больше смахивают на арку Константина.

Константин Петрович спросил у попавшегося им навстречу старика, вооруженного метлой, но одетого в странный, отделанный малиновыми галунами камзол, как им пройти к Гугенотскому кладбищу. Ливрейный дворник махнул рукой на север, и Сопоткин с Костромировым не спеша направились по выложенной розовым туфом дорожке в указанном направлении.

Дорожка живописно изгибалась вдоль берега не то обширного пруда, не то небольшого озера, с плавающими по его серебристой глади белоснежными лебедями, петляла между элегантных клумб, беседок и до сей поры зеленых, аккуратно подстриженных лужаек; все вокруг — лужайки, газоны, изящные деревянные беседки — поражало девственной чистотой, да и весь парк выглядел свежим и ухоженным, будто голландская кухня. Казалось, даже падающая с деревьев листва растворяется в воздухе, не долетая до земли.

— Итак, — начал Костромиров тоном профессора, читающего первокурсникам вводную лекцию, — прежде чем изложить свое мнение по затронутой вами проблеме, должен оговориться, что один из моих учителей, выдающийся медиевист профессор Гуревич, посвятил в свое время этому вопросу небольшое, но блестящее исследование. Так что, по сути, я буду лишь по мере сил интерпретировать и развивать высказанные им некогда мысли... Ага. Полагаю, вы не станете спорить, что до сих пор, на протяжении всей человеческой истории, утверждения о существовании потустороннего мира и возможности бытия человека после кончины опирались исключительно на религию. Так? То есть были связаны с комплексом представлений о бессмертной душе и — главное — системе наград и кар, которые она испытывает на том свете...

— С чего я должен спорить? — удивился Константин Петрович. — Это ведь вы, а не я, не верите ни во что, чего нельзя потрогать руками.

— Так вот, — продолжил Костромиров, — система кар и наград предполагает, соответственно, высший суд и высшего судию. Конечно, это убеждение иррационально, но по-своему и вполне логично...

— Вот опять! — всплеснув руками, сказал Константин Петрович. — Снова! Отчего же непременно «иррационально»?

— Объясню. Иррационально, поскольку, будучи неотъемлемой составной частью религиозного контекста, оно не требует доказательств, внешних по отношению к этому контексту. Логично же, оттого что в любой монотеистической доктрине понятия творца-судии, души и ее существования после того, как она покидает земную оболочку, неразрывно связаны между собой, являясь центральными опорными понятиями и столпами теологии.

— Это я понимаю, — согласился Константин Петрович. — Не понимаю другого: к чему вы клоните?

— Сейчас узнаете, — успокоил его Костромиров. — Ага. В этом вопросе мы с вами сошлись. Очень хорошо. Теперь давайте посмотрим, что же предлагает ваш доктор Моуди... Так вот, доктор Моуди предлагает нам нечто абсолютно противоположное. Отнюдь не религиозный, но, по его убеждению, экспериментально доказанный потусторонний мир, в котором оказываются души или бестелесные субстанции после

смерти, пускай и временной. Ведь он специально оговаривается, что аргументы его не имеют ничего общего с религией или умозрительно-философскими теориями... Дескать, только научные данные, собранные им и другими врачами...

— Ну и что? Пока не вижу тут никакого противоречия, — заметил Константин Петрович. — Каким образом научная доказанность нашего посмертного существования способна повредить вере? Не понимаю.

— Постараюсь объяснить... — ответил Костромиров. — Будучи историком, я не в состоянии квалифицированно обсуждать медицинский аспект проблемы. Но в видениях (в том числе и тех, что пережили лично вы), как и вообще в иррациональном, есть своя логика. И эта логика едва ли может быть объяснена одними только врачами или психотерапевтами. И вот здесь историк культуры и ментальностей может высказать кое-какие соображения. Особенно если он исходит из предположения, что подобные данные надлежит изучать не как чисто медицинские факты, но как *симптомы коллективной психологии*, диктуемой вполне определенной картиной мира.

— При чем здесь психология, да еще и «коллективная»? — вновь не выдержал Константин Петрович.

— Спокойствие, только спокойствие, — ответил Костромиров. — Прежде всего, нужно подчеркнуть, что, согласно прежним представлениям... скажем, представлениям людей средневековья, между обоими мирами существовало довольно интенсивное общение. Например, покойники, не утратившие своей заинтересованности в земных делах, могли наносить визиты живым. Понятное дело, особенно часто они являлись друзьям или родственникам и просили хоть как-то облегчить их пребывание в этом самом загробном мире... Ну, там, молитвами, заупокойными мессами, постами, подношениями святым заступникам и прочими благими делами.

— Вы бы еще с потопы начали, — проворчал Константин Петрович. — Я же, как вы, наверно, успели заметить, не полный профан в истории религии. По роду деятельности обязан кумекать малость.

— Вот и отлично. Тем легче вам будет меня понять. На чем я остановился?... Ага, вспомнил. Так вот, в те времена случалось, конечно, что люди впадали в коматозное, близкое к смерти состояние. Правда, выбирались они из него гораздо реже, чем нынче, но, тем не менее, иногда выбирались. По сохранившимся свидетельствам, ожившие обыкновенно также рассказывали весьма схожие между собой истории. Благополучно перенеся клиническую смерть, человек сообщал, что в момент этой самой смерти, когда его душа покидала тело, она как бы со стороны наблюдала его распростертым на смертном одре. Затем душа отлетала прочь...

— Ну вот! А я о чем? — воскликнул Константин Петрович. — Во все века люди видели одно и то же. Какие еще надобны доказательства реальности загробной жизни?

— Ага. Но вот тут-то как раз и происходило нечто совершенно иное, нежели в видениях нынешних коматозников: в одних случаях бесы волокли душу временно умершего в преисподнюю, в других — ангел провожал ее в загробные царства, где той предоставлялась назидательная возможность созерцать муки осужденных грешников и блаженство божьих избранников. Места, которые посещали души временно преставившихся, это чистилище или разные отсеки ада. Что же касается рая, то души, предназначенные к возвращению на землю, практически никогда не удостоивались счастья войти в него, самое большее, находясь поблизости, все же могли созерцать небесное сияние и внимать хорам ангельским. Обычно души странников, которые должны были возвратиться к жизни, не попадали и в самое пекло, лишь со стороны наблюдая адский колодезь, откуда вместе со снопами жгучего пламени и жалостными воплями вылетали души навечно осужденных, чтобы через короткое мгновение вновь в него низвергнуться... Как видите, средневековые люди тоже располагали доказательствами существования потустороннего мира и тоже, на их взгляд, вполне достоверными и убедительными — прежде всего, свидетельскими показаниями, рассказами очевидцев. Путешествие героя на небо и под землю — вообще излюбленный мотив как латинской, так и византийской аретологии и агиографии. С той лишь небольшой разницей, что у восточных христиан нет чистилища... Впрочем, если желаете убедиться в распространенности визионерских мотивов, достаточно взять хотя бы «Диалоги» папы Григория Великого, похожее сочинение Цезария Гейстербахского, компиляции Этьена де Бурбона, Умберта де Романа, Жака де Витри или «Церковную историю англов» Беда Достопочтенного... Ага. К слову, у того же Беда имеется любопытное известие о видении некоего Дриктельма, — не то бритта, не то англа, — жившего еще на памяти рассказчика где-то в Камбрии, нынешнем Каннингеме, что в шотландском Эйршире. Весьма характерное известие.

— Характерное? То есть типичное? — спросил Константин Петрович.

— Именно что типичное. Для своего времени. Однако не лишнее и оригинальности. Например, в нем нет ни слова о чистилище, имеется лишь некий возможный

его прообраз, хотя Римская церковь тогда уже признавала существование сей «пересадочной станции» потустороннего мира... Но главное — это ощутимый контраст с вашими воспоминаниями... Хотите, расскажу?

— Сделайте одолжение.

— Хорошо... Наверное, логичнее было бы остановиться на знаменитом «Видении Адамнана». Но пересказывать сей устрашающий образчик ирландской монашеской прозы — неблагоприятное занятие. Лучше сами прочтете при случае. Если не читали... Так вот, о Дриктельме: случилось, что этот бедолага разболелся и, как водится, помер. Ну, не помер, конечно, а впал в кому, в «состояние, близкое к смерти», если по Моуди. Как бы то ни было, поскольку признаков жизни он не подавал, его естественным образом сочли мертвым, уложили в гроб и собрались честь честью предать земле. И тут, к ужасу родичей, покойник возьми да очнись, да заморгай глазами. Представляете? Само собой, все в панике драпанули кто куда. Все, кроме жены, которая любила его без памяти и потому осталась, хотя и тряслась от страха. Редчайший пример супружеской верности! Муж, понятное дело, поспешил успокоить дрожавшую половину, сказав: «Не бойся, любезная Квенбурга, все хорошо. Ибо воистину я спасся от смерти, которая уже держала меня в своих когтистых лапах, но мне позволено и дальше жить среди людей. Однако после виденного должно это делать не как прежде, а совсем иначе». С этими словами недавний усопший быстренько раздал свое имущество бедным и в скором времени вовсе освободился от забот мира сего, удалившись в Мельрозскую обитель. Помните, наверное: «Есть в Мельрозской обители мрачный монах: и дичится людей и молчит...» Ну вот, все как у поэта, — там он принял постриг и благополучно прозябал до дня настоящей уже, а не «временной», кончины. Причем прозябал в таком телесном и душевном воздержании, что даже если бы и правда хранил совершенное молчание, само истовое подвижничество его доказало бы, что сподобился он лицезреть многие страшные вещи, от прочих сокровенные... По словам очевидцев, помимо постоянных поста и молитвы, он завел обыкновение ежедневно являться на берег Твида, заходить в реку по самое горло и так многие часы кряду стоять без малейшего движения, читая псалмы и вознося страстные моления к Господу. Выйдя из воды, он никогда не снимал холодную, мокрую одежду, покуда она сама собой не высыхала от тепла его тела. Когда зимой вокруг него плавали льдины, — а лед он разбивал голыми руками, дабы расчистить место в реке для молитвенного стояния, — наблюдавшие это любопытствовали: «Брат Дриктельм, и как ты ухитряешься сносить столь лютой холод?» Он же отвечал просто, ибо сам был человеком простым и немногословным: «Видали мы холода и пострашнее». Когда же ему говорили: «Удивительно, как это ты выносишь такую суровую жизнь, эдакую муку мученическую!» — он бурчал: «Видали мы муки и посуровее». Вот так до самого смертного часа и смирял брат Дриктельм свою дряхлеющую плоть ежедневными водно-молитвенными процедурами, нещадно истязал тело и упражнял душу в неутолимой жажде небесных милостей...

— Кажется, вы обещали рассказать о видении, — напомнил Константин Петрович, — а между тем живописуете аскетические подвиги этого своего не то сакса, не то пикта.

— Да что видение! Видение самое что ни на есть обыкновенное, — Костромиров пожал плечами. — Суть не в видении, а в его последствиях... Впрочем, сейчас расскажу и о видении... Стоит еще раз упомянуть, что человек божий Дриктельм пустобрехом не был, напротив, слыл за угрюмого молчаливика, чуть ли ни исихаста. Что при его образе жизни вполне объяснимо. Оттого и о явленном ему не трещал без умолку как сорока, не разбалтывал кому ни попадя, но поведал лишь немногим избранным, тем, которые особенно страшились адских мук и подобно ему самому были очарованы надеждой на грядущее блаженство. От одного из таковых — мельрозского приора Этельвольда, кой в положенное время и увенчал Дриктельма тонзурой, — услышал эту историю наш Беда и подробно записал. Итак, по словам достойного анахорета, сразу по смерти встретил его не то муж, не то отрок сияющего облика, со златовидным мерцанием вокруг чела и в белых одеждах, крестообразно опоясанных на персях алыми лентами. Он был светозарный мужеотрок ласково повлек Дриктельма в сторону восхода солнца во время солнцестояния. На пути они подошли к глубокой и широкой долине бесконечной длины; одна половина ее была объята страшно бушующим пламенем, а во второй свирепствовала снежная буря и царил леденящий холод, точно в германско-скандинавском Нифльхеле. Великое множество вопящих человеческих душ, казавшиеся гонимыми невидимым вихрем, метались беспрестанно из конца в конец по той долине. И не удивительно. Ибо, когда проклятые души не могли больше выносить ярость ужасающего жара, они волей-неволей бросались в самое средоточие лютого холода, но, не обретя и там облегчения, кидались назад, дабы вновь гореть в негаснущем пекле. Дриктельм подумал, что это должно быть и есть геенна, но спутник тотчас ответил его мыслям, сообщив, что пред ними всего лишь обитель раскаявшихся на смертном

одре грешников, и после судного дня ждет их вовсе не ад, но царствие небесное. Впрочем, молитвы еще живущих, их благие дела, посты и особенно заупокойные службы со щедрыми пожертвованиями в пользу церкви вполне, дескать, способны освободить сих несчастных еще и до дня суда. В доказательство сказанного, сопровождающий указал ему на одну из душ: та совсем неподалеку от них сидела по самое горло в жгучем пламени, шкворча и поминутно лопааясь от нестерпимого жара, подобно доброму шмату свинины на сковородке, и тем не менее смеялась, даже хохотала чуть ли не в голос. Дриктельм, само собой, не преминул поинтересоваться у проводника о причине таковой неадекватности страдальца, на что получил ответ: «Душе сего покаявшегося легиста и святокупца обещано, что по истечении трех сотен лет в роду его явится на свет непорочное дитя, которое, если не помрет раньше конфирмации, то, едва отстоит свою первую мессу, так сразу и освободит его от мук»...

Горислав Игоревич замолчал, чтобы дать возможность Сопоткину уточнить дорогу к Гугенотскому кладбищу у еще одного попавшегося им навстречу паркового служителя, как две капли воды похожего на первого, но с галунами и позументом уже не малинового, а серебряного цвета, — после продолжил прежним размеренным лекторским тоном:

— Ну вот. Затем сияющий муж повлек его далее; впереди стало темнеть, наконец тьма сделалась столь густой, что покрыла все окрест, и Дриктельм не различал уже ничего, кроме фигуры провожатого в белоснежном одеянии. Так двигались они под сенью долгой ночи, покада не возникли вдруг перед ними невообразимые громады бушующего пламени, встающие будто из некоей бездны и вновь с впечатляющим грохотом в нее ниспадающие. И узрел Дриктельм бесчисленные огненные шары, что беспрестанно вздымались и немедля рушились на дно жуткого провала; языки темно-багрового огня полны были человеческих душ, которые, как искры с дымом, поднимались ввысь и с жалостными причитаниями и стонами падали обратно в безвидную пропасть. Из глубин ее вместе с серными испарениями доносились горестные стенания, запоздалые мольбы, сопровождаемые хриплым смехом, злорадным хохотом и неприносимыми богохульствами. Когда звуки сделались яснее и приблизились к нему, Дриктельм явственно различил толпу злых духов, со свистом, непотребными шутками и зубоскальством, будто в некоей мерзостной игре, влекущих скопище человеческих душ к самому сердцу тьмы. Он углядел у одного из несчастных тонзуру клирика, у второго — посох и митру епископа, на третьем красовалась судейская мантия; еще были там расхристанный и все еще пьяненький мирянин и женщина откровенно блудливого вида, прочих различить было невозможно. Бесы споро и радостно волокли их в пылающую бездну. Тут внезапно дюжина темных демонов вырвалась из горячего пламени и набросилась на самого Дриктельма. А надобно заметить, вид оные окаянные отродья имели самый что ни на есть преотвратный: обличем смахивали на арапов-ефиопов; рожи черны, будто смола, очи багровы, аки уголья, рога длиннее бычачьих, хвостыщи скорпионовы... Хе-хе!.. — Горислав Игоревич довольно хохотнул неведомо чему, даже, кажется, облизнулся, впрочем, тут же продолжил: — И стали они производить шум и смятение великие: одни ревели по-звериному, другие лаяли по-псиному, иные выли по-волчьи, прочие рыготали по-тарабарски; при этом все они, с яростью пялясь на Дриктельма, грозили ему, скрежетали зубищами и тщились ухватить бедолагу грозного вида баграми, щипцами и крючьями. Но лучезарный спутник мгновенно отогнал оных зловердцев громкими возгласами «аллилуйя!», и те с проклятиями исчезли. Предупреждая вопросы подопечного, небесный вожатый сообщил, что сия огнедышащая зловонная пучина и есть самая пасть ада, знаменитая утроба геенны, *anus inguina nates* сатаны, в которой все упавшие туда пребудут вовеки, без надежды, без веры, без раскаяния, ибо последнее — увы! — уже бесполезно... После того, повернув вправо, сияющий муж повел его в направлении восхода зимнего солнца и быстро вывел из темноты к свету. Паря рядом с ним в воздухе, Дриктельм увидел впереди... — Костромиров замялся, искоса глянул на Константина Петровича и произнес как бы нерешительно, со странной просительной интонацией: — Полагаю, навряд ли стоит подробно останавливаться на деталях дальнейшего променада нашего героя, они довольно банальны. Да и картины райских кущ выходят у меня обыкновенно бледными, описания красот «отверженных селений» даются мне, по какой-то причине, не в приреч...

Нотка явного смущения в голосе профессора заставила Константина Петровича бросить на него любопытный взгляд.

— Ну уж нет! — запротестовал он. — Не вы ли сами толковали об «ощутимом контрасте» и тому подобном? Вот и давайте, и рассказывайте.

— Так и быть, — вздохнул Костромиров, — но я буду вынужденно краток. Ибо, повторяю, не мое это — живописать разные там эмпирей... Я же вам не Данте. Только гению под силу ликовать и умиляться на протяжении ажно тридцати трех песен сво-

его «Рая»... Итак, Дриктельм узрел впереди громадную стену, длина и высота которой казались бесконечными. Добравшись до стены, он и провожатый внезапно каким-то образом очутились на самой ее вершине. За ней лежала широчайшая прекрасная равнина, полная благоуханием цветов; их сладостный аромат быстро прогнал окутавшее Дриктельма гнусное зловоние исчадий тьмы. Так ярок был свет, пронизавший всю эту местность, что он казался ярче дня или лучей полуденного солнца. По равнине празднично бродили бесчисленные множества прекрасных юношей, ликом радостных и светлых, и девиц самого целомудренного обличия; иные из них, устав от гуляния, сидели на мягкой душистой мураве, обоняя цветочные ароматы, блаженно улыбаясь, сладостно жмурясь и смеясь, каждый чему-то своему... Пока проводник влек его сквозь скопления приветливо хихикающих и благожелательно кивающих путникам обитателей, Дриктельм подумал, что это, быть может, и есть царствие небесное, о коем он много слышал. Но вожатый ответил на его мысли, поведав, что они с ним в обители тех, кто умер, сотворив многие добрые дела; однако тутошние насельники не столь совершенны, чтобы сразу же, немедля попасть в рай, лишь после дня суда прейдут оные души пред лицо Христово, к небесным радостям.

— Вы это специально так описываете? — осведомился Константин Петрович сурово.

— Как «так»? — удивился Костромиров.

— А так, чтобы смахивало на лечебницу для душевнобольных?

— Ну что вы! Ни в коем разе. Я почти буквально следую тексту достопочтенного Беды. Не моя вина, что все эти парадизы, елисейские поля и элизумы имеют разительное сходство с психушкой... Короче, когда наши путешественники миновали сие обиталище блаженных (в хорошем смысле слова!) духов, Дриктельм увидел впереди еще более дивный свет; из него беспрестанно доносились сладчайшие звуки согласно поющих голосов. Благоухание же, изливавшееся оттуда, было так прекрасно, что прежний аромат, показавшийся Дриктельму сперва непревзойденным, ныне представлялся ему самым обыкновенным; и радужное сияние над цветочным полем в сравнении с тем светом, что он видел сейчас, показалось тусклым и слабым. Дриктельм начал надеяться, что они войдут в это чудесное место, но не тут-то было! — проводник его внезапно остановился и, быстро повернувшись, повлек будущего мельрозского инокка обратно тем же путем. По дороге сияющий спутник пояснил, что виденная Дриктельмом последняя обитель — это вовсе не школа хорового пения, как можно было подумать, но как раз и есть то самое царствие небесное, куда попадают лишь те, кто совершенен в каждом слове, деле и помышлении. Именно там, за семью стенами и шестью воротами, возвышается нерукотворный престол самого Господа. Три величавые птицы сидят у его подножия, их дело — постоянно размышлять о творце. И едва они хоть на мгновение отвлекаются — муки проклятых душ, томящихся в адской бездне, многократно возрастают. Лик же царя, сидящего на престоле, не дано узреть ни одному смертному. Да и бесполезно: ибо глаза человечесьи, доведись им глянуть на него, тотчас бы лопнули, растаяли и вытекли. Так сказал сияющий спутник и добавил: «Ты должен сейчас вернуться в телесное узилище свое и снова жить среди людей; но ежели станешь наперед лучше следить за собой, отречешься от преходящих мирских радостей, сохранишь пути и мысли свои в праведности и целокупности сердца, то не исключено, что после неминуемой кончины окажешься в радостном сообществе спасенных душ, сможешь небезбранно предаваться сладостному воспеванию милосердия Божьего. Ну и, само собой, наблюдать с горних высот за нестерпимыми мучениями грешников в преисподней. Ибо Господу ведомо: лишь созерцая чужие страдания, возможно в полной мере насладиться собственным блаженством и дарованной благодатью». Едва он закончил говорить, как Дриктельм вернулся в свое, похолодевшее уже тело. Вернулся, по его словам, с большой досадой и неохотой, ибо был буквально зачарован невыразимой прелестью того места, что лишь издали позволил ему лицезреть небесный вожатый...

— Надо будет самому почитать этого вашего Беду Достопочтенного, — проворчал Константин Петрович, — уж больно непривлекательный рай у вас выходит...

— Ну, каков есть, такой и выходит... — развел руками Костромиров. — Ага. И жанр такой вот литературы процветал на протяжении всего средневековья и даже надолго пережило его. Особенно в России. Поройтесь в следственных делах и протоколах Святейшего правительствующего синода первой половины XVIII века и убедитесь: они сплошь заполнены, так и пестрят описаниями «видений» многочисленных визионеров и красочными рассказами оживших после «обмирания», а равно подметными грамотами с разъяснениями оных... А теперь, Константин Петрович, попробуйте ответить мне на такой вопрос: отчего нынче видения потустороннего мира изменились столь разительным, можно сказать, радикальным образом?

— Так ведь времена меняются... — неуверенно произнес Константин Петрович.

— Во-от, — протянул Костромиров и наставительно воздел указательный палец. —

К чему и веду. Именно, что меняются времена, а с ними — и наша ментальность, наши представления о загробном существовании. *Tempora mutantur et nos mutamur in illis*. И заметьте, мы с вами ограничились одним только христианским средневековым и отнюдь не затрагивали античность, древний или вообще языческий мир. А ведь граждане греческих полисов и Римской империи в предсмертных видениях наблюдали Аид либо Тартар, в точности соответствующие красочным описаниям Гомера, Посидония и Вергилия; вавилоняне и иудеи устремлялись мыслями в «безвидные» и мрачно-дремотные пространства Араллы и Шеола. Обитатели страны Кемет, «несуразной» земли египетской, — к сомнительным (зачастую каннибальским) удовольствиям Полей Иалу или сумрачным ужасам Аменти; язычники-скандинавы же в аналогичных ситуациях оказывались в Вальгалле, со всем ее кровопролитно-прожорливым великолепием, и лицезрели Одина «со оступными его силами».

— Теперь я начинаю улавливать, куда вы клоните, — заметил Константин Петрович, впрочем, безо всякого удовольствия.

— Ага! Улавливаете? И ведь правда, совершенно же очевидно, что доктор Моуди и все, кто разделяет его «научную» (во всяком случае, якобы нерелигиозную) уверенность в существовании жизни после смерти, опираются на абсолютно идентичную средневековой систему доказательств.

— Эка, хватили! В средние-то века современной медицины и методов исследования и помину не было...

— Я не о том. Но согласитесь, все их доказательства реальности потустороннего мира строятся на одном: в коматозном состоянии люди видели *нечто*, а поскольку все они или большинство из них видели одно и то же, теорема считается доказанной — жизнь со смертью не кончается. Между тем в действительности речь идет вовсе не о «медицинском факте», а именно о чрезвычайно симптоматичном социально-психологическом феномене нашего времени.

— Опять вы о психологии... Психология, знаете ли, у всех разная...

— Нет, нет! Во все времена, будучи в «состоянии, близком к смерти», просто в забытии или молитвенном трансе, люди видели именно то, что *хотели и предполагали* увидеть... Нынешние *homo sapiens* смертельно боятся смерти, и они видят блаженный потусторонний мир, в котором этой самой смерти попросту нет. Недаром, по свидетельству того же Моуди, пациенты его возвращались со стогн сего парадиша более смелыми и менее страшущимися небытия. Страх современного человека перед неизбежностью земной кончины столь велик и всепоглощающ, а привычка к удобствам и удовольствиям вещной цивилизации столь сильна, что приводит к полному пересозданию самого образа мира иного. Обратите внимание, в нем нет уже ни высшего суда и самого судьи, ни наказания, ни, соответственно, ада или чистилища. Один сплошной рай! Для всех без исключения... Даже бандиты-мафиози, благополучно пережившие клиническую смерть, взахлеб рассказывали о красоте райских куш. И неважно, сколько душ они успели загубить на этом свете, неважно, что они и не думали о раскаянии... Человечество стремительно освобождается от чувства греховности и метафизической вины, оно даже не сознает себя достойным загробного блаженства, оно воспринимает его как *некую данность*. Дескать, это то, что *ему положено безо всяких затрат или предварительных условий*... Если вы проанализируете воспоминания тех, кто пережил СБС, то поймете, что ментальность их основана на моральной безответственности и потребительстве...

— Вот спасибо, — с усмешкой поклонился историку Константин Петрович. — Припечатали. Оказывается, я морально безответственный потребитель.

— Как и все мы, — невозмутимо согласился Костромиров. — Полагаю, окажись я в вашей ситуации, и мне бы привиделось нечто аналогичное. Я ведь не исключение, такой же продукт своего времени, как все прочие. Тоже привык к удобствам. А нынешнему человеку желательнее приобрести, помимо уже существующих, еще одно, дополнительное удобство — благоустроенный и беззаботный рай. При этом приобрести его, так сказать, бесплатно и безо всяких усилий. Главное же — изгнать из собственного сознания образ смерти, ибо он сделался непереносимым для психики современного человека. Абсолютно непереносимым.

— Будто бы раньше к смерти было иное отношение, — возразил Константин Петрович.

— Безусловно иное, — ответил Костромиров. — Судите сами, те же средние века были временем господства несокрушимой веры, временем, когда вся картина мироздания центрировалась вокруг Бога, эдакой всеобъемлющей регулятивной идеи. Нашим предкам не требовались никакие научные доказательства реальности того света и неизбежности посмертного воздаяния. Все просто: грешил — марш в пекло, успел раскаяться — ступай в чистилище, а там, глядишь, через пару-тройку веков и в рай пустят, если очень попросишь. Они не столько боялись физического конца, сколько

ими владел страх Божьего проклятия. Ныне же была христианская цивилизация, к великому сожалению, давно уже вышла из этого безмятежного существования, секуляризовалась и, несмотря на возрождение в кое-каких группах населения религиозности, уже никогда не возвратится на прежнюю теологическую стезю... Раньше героями были святые и подвижники веры, сейчас — врачи, парапсихологи и экстрасенсы (ибо на них вся наша надежда!). Тогда преподой перед страхом смерти служила искренняя вера, чаяние «воскресения мертвых и жизни будущего века», теперь — судорожные и тщетные потуги эту веру обрести, притом веру стыдливую, рядящуюся в наукообразные одежды. Не оттого ли мы склонны смешивать в одну кучу науку и суеверия, предмет веры и предмет рационального знания, данные опыта и латентный страх смерти с неизбывной надеждой на бессмертие?

— Короче, вы хотите сказать, что современные видения «света по ту сторону», — не исключая и мой скромный опыт, — стоят не больше, чем «Сонное хождение блаженной старицы Февронии в адово пекло и чертоги райские», — резюмировал Константин Петрович.

— Именно, — подтвердил Костромиров. — Или экстатические плачи полоумной Марджери Кемп, мытарства души инокини Феодоры и чувственные откровения Юлианы Нориджской... Кстати, о чувственности... Вам не кажется, что об изменении наших общих представлений о загробном существовании свидетельствует, кроме всего прочего, и значительная трансформация понятий о допустимых нормах взаимоотношений души с телом?

— Это как? Не понимаю... Что вы имеете в виду?

— Ну, вот хоть у той же упомянутой Юлианы — английской затворницы-визионерки конца XIV века — человеческое тело репрезентируется преимущественно негативно. Если память меня не подводит, нориджская анахоретка описывает собственные видения во время клинической смерти приблизительно так: «И воспарив, душа моя узрела тело, недвижно на земле лежащее. И показалось оно мне гнетущим и жутким, без очертаний и форм, аки яма грязи смердящей, будто болото, гадкое, зловонно разлагающееся и безмерно мерзопакостное»... Вряд ли вы обнаружите что-либо подобное в рассказах современных коматозников, благополучно переживших «состояние, близкое к смерти». А почему? Да все по той же причине — из-за кардинального изменения ментальности. В нынешнее время мало кто уже воспринимает человеческое тело только как «сосуд греха», символ «великой гнусности нашей смертной плоти». Поменялась эпоха, поменялся и характер видений... Другими словами, как ни крути, но тот факт, что описанные доктором Моуди галлюцинации повторяются у многих лиц, следует расценивать отнюдь не как доказательство существования мира иного, но исключительно в качестве социально-психологического феномена.

— То есть и само количество свидетельств не имеет, по-вашему, ровно никакого значения?

— Совершенно верно, никакого. Да и вообще, если критерий истинности искать в численном преобладании, то взгляды невежественных и суеверных людей, которые, к сожалению, составляют подавляющее большинство человеческого рода, получают явное преимущество.

— Ну, это, положим, старая песня. Извечный спич консерваторов и антидемократов всех мастей. Еще Моррас и Генон утверждали, будто большинство неизбежно выражает мнение людей некомпетентных.

— А разве нет? Скажу больше: доминирование количественного фактора — это и есть первородный грех всякой демократии. Особенно так называемой либеральной демократии.

— Вечно одно и то же: во все времена апологеты монархии и вообще сильной власти твердят о том, что демократия и либерализм враждебны любому порядку и даже самой культуре. Дескать, влекут за собой атомизацию общества, «войну всех против всех», чреваты охлократией, упадком культуры и прочими мерзостями.

— Так и есть. Но мы отвлеклись... Какой бы пример вам привести еще? — Костромиров задумчиво огляделся по сторонам, будто высматривая подходящие иллюстрации для своих силлогизмов. — Ну вот хотя бы... Вам, вероятно, известно, что еще не столь давно, в относительно недалеком прошлом, на западе Европы бытовало поверье, будто короли Франции, потомки Гуго Капета, начиная со второго Капетинга — Роберта Благочестивого, а равно английские монархи, начиная с первых Плантагенетов, обладали уникальной способностью простым наложением рук исцелять золотуху? Причем таковая чудотворная сила отнюдь не зависела ни от качеств их духовности, ни от христианской ценности их жизни, а считалась неотъемлемым свойством, положенным этим особам *ex officio*, по должности. Известно? Ну вот... Можете себе представить, что в течение почти целых восьми столетий, с X по XIX век, — а последним английским венценосцем, исцелявшим золотушных, был Яков II Стюарт, последним

же французским — Карл X, ажно в 1825 году, — так вот, с X по XIX век по данному поводу накопилась огромная литература, большое количество независимых свидетельств, значительная статистика. Я разумею, естественно, статистику, подтверждающую целительские способности августейших особ. Например, только в Иванов день 1633 года Карл I одним махом излечил шесть сотен пациентов в королевской часовне в Холируде, а Людовик XIV в великую субботу 1666 года исхитрился помочь восьмистам больным. Это притом что и он, и его отец, Людовик XIII, совершали обряд возложения рук на золотушных ежегодно, в дни почти всех великих, двенадцатых праздников. Согласно сохранившимся архивным документам, ежегодное количество исцеленных доходило до нескольких десятков тысяч человек. Сами понимаете, учитывая число страждущих, монархи не смели и помыслить отказать от сей обязанности... Хотя того же Людовика XIII, особенно во времена его малолетства, эта «докука» буквально приводила в ярость — он и сам смертельно боялся подхватить какую-нибудь заразу и не раз говорил, что его глупые подданные думают, будто он король не живой, а карточный, отчего ему и чума не страшна... И что же? Прикажете поверить оному чуду? Сей наследственной привилегии английских и французских монархов. Ведь свидетельств превеликое множество. Тысячи свидетельств! Причем самых разнообразных, в том числе, исходящих и от вполне квалифицированных по тем временам медиков. И все они в один голос кричат о чудесном избавлении золотушных от гложущего и снедающего их недуга, усматривают здесь экспериментально подтвержденный факт, истину, ясную, как солнце... Но золотуха — это туберкулез. Туберкулез же невозможно вылечить наложением ничьих рук. Пускай даже самых что ни на есть августейших. Как же соотнести, как согласовать эти самые свидетельства со здравым смыслом? А? — Костромиров выжидающе уставился на Константина Петровича; поскольку ответа не последовало (Сопоткин лишь молча пожал плечами), продолжил: — Ага. Таким образом перед вами открываются только два пути: либо встать на сугубо научную точку зрения — тогда придется волей-неволей отмести все эти десятки тысяч свидетельств, признать пресловутые исцеления следствием самовнушения, игрой чересчур богатого воображения, стечением обстоятельств, заблуждением, результатом массовой дремучести или прямым обманом — то есть, по существу, удовольствоваться любыми *возможными* объяснениями, кроме чудесных, либо попросту уверовать в истинность «чуда». Ибо в пользу его истинности говорит уже само количество очевидцев сверхъестественных исцелений... Вам, например, что ближе?

— А вам? — в свою очередь поинтересовался Константин Петрович.

— Лично я, понятное дело, предпочту первый путь. Мне представляется, дело тут во многом опять-таки в силе коллективных иллюзий. Даже если отбросить и не принимать во внимание все прочие аспекты, стоит вспомнить, что золотуха, туберкулезный аденит — болезнь, которая, временно отступая, легко создает у больных обманчивую видимость полного выздоровления. Ибо внешние ее проявления: опухоли, фистулы, нагноения лимфатических узлов — часто проходят сами собой, с тем чтобы вскоре появиться вновь на том же либо на другом месте. И, разумеется, коль скоро через некоторое время (неважно, какое) после целительного обряда в состоянии больного наблюдалось улучшение, пусть даже незначительное, этого оказывалось более чем достаточно для оправдания веры в чудотворную власть королей. Само собой, никому бы и в голову не пришло узреть в таком «исцелении» чудо, не будь люди загодя приурочены к тому, что от монарха следует ожидать чудес. Однако — стоит ли напоминать? — именно этого от них все и ожидали.

— Ну, хорошо, допустим. А как быть со случаями, когда монаршим пальцам не удавалось изгнать недуг? — полюбопытствовал Сопоткин. — Ведь таковых наверняка тоже было великое множество.

— О них просто-напросто очень скоро забывали. Твердую веру не так легко смутить... Даже если вы докажете такому верующему, что в его платяном шкафу вовсе не обитает дьявол, докажете как дважды два, он все одно заявит, что дьяволу, дескать, именно и хочется, чтобы в него не верили... Видите ли, идея бессмертия настолько глубоко укоренилась в человеческом сознании, что даже большинство нерелигиозных, вполне рационально мыслящих людей, которые умом отрицают бессмертие, *на самом деле*, в него верят. Понимаете? Гордыня! Гордыня и страх. Ну, никак не можем мы вообразить себе небытия, полного уничтожения собственной уникальной личности. В этом смысле, честнее многих, на мой взгляд, были ацтеки. Они, как вы знаете, говорили: *«Мы не верим, мы боимся!»*

— Тыфу! Своим пошлым рационализмом вы отравили мои лучшие воспоминания и самые светлые надежды, — с негодованием сказал Константин Петрович. — Или почти отравили. Поскольку доводы ваши меня так и не убедили полностью.

— Чего же вам не хватает для полного убеждения? — с улыбкой змья поинтересовался Костромиров.

— Не старайтесь, все равно не получится, — заверил его литератор. — Надежда, как известно, умирает последней... Вот вы тут упомянули о неповторимости каждой отдельной человеческой личности... Но ведь именно поэтому действительно трудно — я бы даже сказал, невозможно! — представить эдакую глобальную, нелепую и (не побоюсь этого слова) преступную расточительность создателя. Или природы, если вам так больше нравится. Расточительность, раз за разом допускающую безвозвратное уничтожение собственных уникальных творений. Как-то не укладывается это в голове. По крайней мере, в моей голове. Все равно как если бы гениальный художник, прежде чем создать очередную шедевр, предавал огню все предшествующие. Дикость какая-то! Нет, не верю... И вообще, полагаю, что на данном уровне незнания человечество не готово выносить окончательный вердикт о реальности или нереальности посмертного существования. То же, как я уже вчера упоминал, относится к призракам и иным необъяснимым явлениям. Кстати, о необъяснимых явлениях...

Оба приятеля так увлеклись беседой, что не заметили, как небо заволочло тучами, солнечные лучи стали меркнуть, с трудом пробиваясь сквозь сизую пелену, и наконец погасли вовсе, будто электрический свет после третьего звонка в театре. Только ослепительная вспышка молнии и последовавший за ней оглушительный, подобный пушечному выстрелу раскат грома заставил их вздрогнуть и прервать спор.

— Что это? Осенняя гроза? — удивился Сопоткин. — Этого еще не доставало.

— Ну, дождя, кажется, покуда не наблюдается, — отозвался Костромиров, тревожно осматриваясь по сторонам. — Однако стоит поискать какое-нибудь укрытие. На всякий случай. Зонта я не прихватил. Вы, смотро, тоже.

— Так ведь ничего и не предвещало... Постойте! Вон там, за теми кустами, что-то такое коричневое. Видите? Вон там, у поворота. Похоже на черепичную крышу...

Литератор и историк немедленно ускорили шаг и устремились в указанном направлении. Через несколько метров их взорам и в самом деле открылась небольшая летняя беседка, по самую кровлю увитая диким виноградом, резная листва которого густо подернулась осенней медно-красной патиной. Войдя внутрь, Сопоткин и Костромиров обнаружили, что не только они решили спрятаться здесь от надвигающейся непогоды: в дальнем левом углу, на узкой скамье, опоясывающей все три стены строения, уже сидел какой-то человек. Из-за царившего внутри полумрака, усугубленного ненастьем, приятели не сразу его разглядели. Первым незнакомца увидел Константин Петрович и вежливо осведомился, не будет ли с их стороны бестактностью нарушить его уединение. В это время Костромиров, не дожидаясь ответа, без церемоний уселся на скамью и с блаженным вздохом вытянул ноги, едва не полностью перегородив выход.

Незнакомец, впрочем, не обратил ровно никакого внимания ни на появление незваных гостей, ни на вопрос Сопоткина; он продолжал сидеть молча, сильно сторбившись и низко опустив голову, покрытую траурного цвета шляпой с широкими, опущенными вниз полями; руки его покоились на коленях, а вся поза была, казалось, исполнена некоей скрытой печали. Длинный темный плащ с поднятым воротником, судорожно зажатые в пальцах правой руки белые лайковые перчатки, сама мертвенная бледность этих тонких нервных пальцев и какой-то почти скорбный изгиб стана — придавали облику незнакомца таинственный флер загадочности. А быть может, свидетельствовали о мрачном состоянии духа или о неотступно терзающих его разум нравственных муках. По крайней мере, именно такое впечатление создалось у Константина Петровича, покуда он разглядывал согбенную фигуру неизвестного. Разумеется, то были лишь совершенно безосновательные фантазии профессионального литератора, тем не менее, он решил их проверить и сказал вполголоса, обращаясь к Костромирову:

— Кажется, мы с вами помешали. Нам тут не рады, не находите? Может, поищем другое место? Да и тучи вон слишком высоко плывут, не очень похожи на дождевые...

Даже если Костромиров и собирался как-то отреагировать на подобное, совершенно неуместное, по его мнению, предложение, то не успел, ибо как раз в это самое мгновение мрачный господин внезапно резко поднялся и вышел из своего угла. Рассеянно посмотрев на стоящего перед ним Сопоткина, он перевел взор на Костромирова и несколько секунд равнодушно того рассматривал; взгляд незнакомца — спокойный и тяжелый — оставлял неприятное впечатление, точно застывший взгляд змеи или какого иного пресмыкающегося. Так что Константин Петрович даже вздохнул с облегчением, когда тот все так же молча, быстро выскочил из беседки и стремительно зашагал прочь. К удивлению литератора, прямо перед исчезновением незнакомца Костромиров привстал со скамьи и даже протянул руку, будто хотел того задержать или о чем-то спросить. Но было поздно — мрачный тип уже скрылся за ближайшим поворотом.

— Черт возьми! — выругался историк. — Быть того не может... Константин Петрович, вы хорошо разглядели физиономию этого господина?

— Совсем не разглядел, — признался Сопоткин. — Во-первых, шляпа, а потом — черты лица очень уж обыкновенные, невыразительные и точно смазанные... А вам за-

чем?

Некоторое время Костромиров в необычном для него нервном возбуждении мерял шагами беседу, наконец, успокоился и задумчиво произнес, медленно роняя слова:

— Странно, очень странно... Готов поклясться, что это был он.

— Кто «он»? — не понял Константин Петрович.

— Помните, мы вчера вечером говорили с вами об одном моем давнем приятеле?

Вы еще признались, что читали какой-то его роман... Забыл название...

— Как величать-то вашего приятеля?

— Рузанов.

— Какой Рузанов? — удивился Константин Петрович. — Алексей Рузанов? Писатель? Как не помнить. Автор «Ликантропии»... Но позвольте! Вы же давеча рассказывали, что он того... вроде как помер на днях?

— Вот именно! — воскликнул Костромиров. — Помер. По крайней мере, мне так сообщили...

— Ну да. Мы ведь с вами и помянуть его успели. Выпили за упокой души как следует, честь по чести...

— Ага. Так вот, повторяю: готов поклясться, что сейчас видел именно его, Лешку! Алексея Рузанова. Абсолютно одно лицо. Глаза только какие-то странные... Не его глаза...

— Ну, мне-то судить трудно... Я ведь лично с ним знаком не был. Роман — это да — читал. А вот так, чтоб лично...

— М-да, дела... — Костромиров вновь на некоторое время впал в задумчивость, затем резюмировал: — Как ни крути, а тут одно из двух: либо я все-таки обознался, либо меня зачем-то намеренно ввели в заблуждение. Первое предположение представляется мне наиболее вероятным...

— Или же, профессор, вы и вправду видели призрак! — с видимым удовольствием воскликнул Сопоткин.

— Ну-ну, не ликуйте раньше времени. Скорее уж у меня просто чересчур разыгралось воображение.

— Ха! Воображение! Воображение, знаете ли, — субстанция весьма призрачная.

— Верно, — с усмешкой согласился Костромиров. — Призрачная. С этим не поспоришь.

Беседа II

ДЕМОНЫ УПОРЯДОЧЕННОГО И БОГИ СЛУЧАЯ

*Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.*

О. Мандельштам

Как-то раз, а именно пасмурным вечером первого ноября 2000-го года, в День всех святых, два приятеля — профессор Института востоковедения РАН Горислав Игоревич Костромиров и известный литератор Константин Петрович Сопоткин — незадолго перед тем случайно встретившиеся в Дублине, степенно прогуливались перед фазисом Тринити-колледжа. Достоверно не знаем, о чём именно они беседовали, но как раз в тот момент профессор Костромиров говорил следующее:

— Мне представляется, порядочный дурак куда опаснее для страны, чем записной мошенник. Не помню, кто точно, но, по-моему, Фрэнклин писал, что не будь король Георг III тупым, но честным малым, так и величайшего бедствия в истории Англии — разрыва с Америкой — удалось бы избежать.

— Таковой разрыв породил новое и, не побоюсь этого слова, великое государство, — отвечал Сопоткин.

— Ну, породил. И что с того?

— Как это что? Мир с той поры изменился!

— Согласен. Изменился. Но не в лучшую сторону.

— А вы не любите Соединенные Штаты, профессор.

— Да, я не люблю Соединенные Штаты.

— Отчего же?

Горислав Игоревич поморщился, словно разжевал лимон.

— Видите ли, эта страна представляется мне взрывоопасным резервуаром с гремучей смесью самого мерзкого ханжества, лицемерия и кликушествовавшего неолиберализма. Этаким театром абсурда... Актеры сего театра, а точнее — балагана, с одинаковым энтузиазмом готовы внимать проповедям толстомясых теле-евангелистов и участвовать в тошнотворных гей-гульбищах. Отплясывать в молельных домах под псалмы гедониста Давида и осуждать к тюремному заключению какую-нибудь несчастную учительницу, имевшую неосторожность переспать с половозрелым семнадцатилетним лбом. Дескать, она нанесла непоправимый вред психике мальчика, который до той поры и не ведал, для чего у него промеж ног причиндалы болтаются!.. Средний американец — это жуткий гибрид, мутант, этакый продукт безответственного скрещивания Вильяма Пенна с коллективными Хью Хефнером и Валентиной Серени. Пуританство, помноженное на «демократические ценности» — что может быть отвратительнее? И страшнее. Прибавьте к этому доведённую до idiotизма слащавую толерантность, парадоксальным образом уживающуюся с маккартистской агрессивностью, приплюсуйте кругозор питекантропа... Да что говорить, янки в буквальном смысле пропитаны ложью. В буквальном! Как пьяница — алкоголем. Короче, Содом и Гоморра отдыхают.

— Абсолютно ложное и неполиткорректное заявление, — с хмурой усмешкой заметил Сопоткин.

— Я и политкорректность — две вещи несовместные.

— Нашли, чем гордиться. Тем более, на мой взгляд, вы просто не понимаете менталитет этого народа. Вообще не понимаете Америки. Оттого и нафантазировали себе какого-то Фредди Крюгера вместо среднего американца. Признаюсь, я о вас лучше думал.

— Ну, уж каков есть.

— Рассуждая об Америке и американцах, следует, прежде всего, помнить об Ирвинге, Купере, По, Готорне, Мелвилле, Лондоне...

— Да-да, — прервал приятеля Костромиров, — об Эмерсоне, Торо, Лонгфелло, Твене, Фолкнере, Драйзере и прочих великих... Всё это было и былём поросло. Это у нас в России их по-прежнему читают. А обычный американец не только их не читал, но чаще всего и вообще знать не знает. Так называемые же интеллектуальные элиты озабочены вовсе не культурой и традициями, а правами трансгендеров на сортиры по выбору. Это и есть, по их мнению, основная проблема современности... Даже угроза глобальной войны ничто для них по сравнению с опасностью, исходящей от белых гетеросексуальных мужчин, ибо все таковые суть гомофобы, женоненавистники и расисты... Впрочем, подобное становится уже не только американской, но и общеевропейской тенденцией. То есть и не тенденцией, а настоящей религией! Отказ от собственной истории, её агрессивное отрицание — повсеместный тренд на Западе. Последовательное и целенаправленное уничтожение образования, всех нравственных устоев, общепринятых норм морали, института семьи, а значит, и самого общества... Действительно, управлять аморфной невежественной массой куда как легче! Ещё Лао-Цзы писал, что должно не просвещать народ, но делать его глупым, ибо трудно править людьми, когда у них много знаний... Не удивлюсь, коли в недалёком будущем и здесь в Ирландии узаконят, к примеру, однополые браки или ещё чего похуже...

— Что?! Однополые браки? — Сопоткин расхохотался. — Окститесь, профессор! Не смешите мои тапочки. Подумать только, однополые браки в старой доброй Ирландии! Немыслимо. Поверьте, скорее небо рухнет на землю, чем нечто подобное станет возможным. Это же оплот католицизма, здесь даже аборты запрещены. А вы говорите...

— Ну что ж, время покажет, — сказал профессор Костромиров, глянув на голубой с золотом циферблат на фронтоне Тринити, — а сейчас приглашаю вас отобедать или, скорее, уже отужинать в ресторации. Отказы не принимаются и не рассматриваются: жрать хочу до изумления! Боже, да я просто одержим демоном чревоугодия, будто сам Катал Мунстерский. Диплодока бы умял. Да и вам, мой дорогой, после пережитых тревог волнений не помешает как следует подкрепиться.

Константин Петрович не успел ничего ответить, как профессор уже подхватил его под руку и решительно повлёк прочь от Колледжа Троицы вниз по Дам-стрит, мимо аляповатой громады Банка Ирландии, мимо здания ратуши, неумело косящей под римский Пантеон, мимо тюремного великолепия бывшего Синодального зала, по направлению к Дублинскому замку и площади Крайс-Чёрч.

— Куда именно мы идём? — спросил Константин Петрович, как только приноровился к размашистой походке Костромирова и привёл в норму сбившееся дыхание. — Куда глаза глядят или в какое-то определённое заведение?

— Да, — ответил Горислав Игоревич, сбавляя шаг, — в определённое. Мне настоятельно рекомендовали ресторан «Лорд Эдвард», уверяли, будто кухня там отменная, официанты вышколены, сервис безупречен, а посетителей до семи вечера не слишком

много.

— Кажется, вы выбрали один из самых дорогих, — посетовал Сопоткин. — И потом, насколько мне известно, «Лорд Эдвард» специализируется на морепродуктах, а я не большой охотник до моллюсков и прочих склизких тварей.

— Успокойтесь, вам понравится, — заверил его Костромиров.

Действительно, оказалось, что сам ресторан расположен на втором этаже четырехэтажного георгианского дома, а первый этаж одного под той же вывеской занимает вполне уютный и почти традиционный паб. Внутри всё выглядело довольно просто и мило: стены, обшитые панелями из морёного дуба, длинная барная стойка красного мрамора, приглушённый свет, тихое повизгивание невидимой волынки, а главное — никаких тебе подсвеченных, настырно журчащих фонтанов, пыльных фикусов и пальм в майоликовых горшках; вместо них по углам зала теснились пирамиды пузатеньких бочонков, не то пивных, не то винных... Короче, очень симпатичное заведение, без излишеств, но симпатичное.

Качество услуги также приятно порадовало Константина Петровича. Нельзя сказать, что кельнеры носились как угорелые, но они и не пребывали в сонной прострации, столь характерной для официантов ленивых южных стран. Если в какой-нибудь трапезнице близ Кампо-де-Фьори или кабачке в Байрру-Алту (где только не приходилось трапезничать Константину Петровичу!) любой представитель этой профессии казался Сопоткину погружённым в сомнамбулический транс, то здесь, на Площади церкви Христовой, они походили скорее на бойких виноградных улиток, стремительно ползающих от столика к столику.

Вкушать пищу в общем зале приятелям не пришлось: пока Константин Петрович глазел по сторонам, перед ним и Костромировым материализовался представительного вида метрдотель и предложил проследовать в одну из крошечных кабинок, целый ряд которых занимал восточную, прилегающую к входу сторону помещения. Оказалось, Костромиров загодя позаботился сделать соответствующий заказ, и теперь приятели имели возможность наслаждаться обедом и беседой в относительно одиночестве, одновременно получая удовольствие от наблюдения со стороны за публикой в зале (кабинки были отделены одна от другой, но дверей не имели).

Сопоткин принялся изучать меню, а Горислав Игоревич уткнулся в карту вин, задумчиво шевеля кустистыми бровями и то и дело дергая себя за кончик носа. Обилие и разнообразие блюд (в том числе, из морепродуктов) и в самом деле поражало воображение, но мидии, всякие панцирно-клевашеватые ракообразные, а равно гребешки, устрицы и красные водоросли, к счастью, не превалировали. Константин Петрович засомневался, что такое ему выбрать: основательное ирландское рагу, питательный дублинский кодл в бульоне из окорока или нежнейшего голуэйского лосося под соусом из сливочного масла, с кресс-салатом и колканноном.

— Что закажем? Виски? — поинтересовался между тем Костромиров, оживлённо потирая руки. — Как вам *Old Bushmills* девяносто третьего года?

— Ни в коем случае! — вскинулся Константин Петрович. — И потом, у вас, кажется, изжога от сего зелья? Когда мне не изменяет память, *жутчайшая* изжога.

— Прошла, — коротко ответил Костромиров.

— Вот как? Хм... Я бы на вашем месте не рисковал, — заметил Константин Петрович с укоризной. — Впрочем, как хотите, а я возьму пиво. Всё ж таки мы в пабе. Да и не думаю, что мой «большой и маленький» организм выдержит ещё одну атаку здешнего ячменного нектара. Полагаю, даже запах его будет для меня вредоносен.

В это время к ним подплыл официант и подал холодные закуски — два блюда с несколькими видами местных сыров и маринованные свиные ножки. Сопоткин, в конце концов, попросил чёрный пудинг, капусту с беконом и пинту красного эля, а профессор ограничился рагу из баранины, грудинкой, тушённой в портере с гвоздикой, базиликом и овощами, ну и ещё порцией картофельных оладий сверху. Жирненьких и очень аппетитных на вид устриц, свежайших морских гребешков, а равно таящих во рту мидий *a la mariniere* Горислав Игоревич заказывать не стал, из уважения к брезгливой разборчивости приятеля.

— Есть у вас местное вино? — со вздохом спросил Горислав Игоревич, закрывая карту.

— Не держим, — ответил официант с гордым достоинством. — Из вин рекомендовал бы «Шато-Марго», «Шардонне» либо «Кьянти», в зависимости, что предпочитаете — красное или белое. Все отличного, коллекционного качества. Имеется также замечательный сетубальский мускат...

Горислав Игоревич вновь вздохнул и тоже заказал пиво, но темное, «Гиннесс», две — нет! — три пинты.

В ожидании заказа Сопоткин от нечего делать попытался рассмотреть публику в зале, это оказалось довольно затруднительно — перед самой их кабинкой мерцал све-

тильник, свисающий с потолка на длинной бронзовой цепочке. И хотя приглушённый красноватый блеск его отнюдь не слепил глаза, но заметно мешал обзору, отчего смутные силуэты за столиками виделись Константину Петровичу безликими тенями Дантова Лимба. Стонущие звуки волюнки и невнятный шум голосов усугубляли впечатление. На одно безумное мгновение Константину Петровичу причудилось даже, будто и крючконосый профиль расположившегося напротив приятеля разительно смахивает на канонические изображения князя мира сего, того самого отца лжи, которому всемогущий творец с неизменной иронией доверяет открывать человечеству наиболее горькие и неудобные истины.

Костромиров отхлебнул из высокого бокала стаут — его принесли первым, вместе с пинтой красного эля для Константина Петровича, — неодобрительно поморщился и залпом осушил бокал. Впрочем, буквально через десять минут над их столиком уже поднимался лёгкий душистый пар от горячего рагу, струились соблазнительно-терпкие, приятно щекочущие и дразнящие обоняние ароматы тушённой в портере грудинки и целой груды резанных большими круглыми ломтями колбас из свиной крови со всевозможными приправами; колбасы (страшные на вид) исходили мутными слезами густого жира, именовались чёрным пудингом и способны были, если верить кельнеру, удовлетворить самый взыскательный вкус и даже у анорексика возбудить зверский аппетит.

Как только первый голод был утолён, а желудки обоих приятелей позволили им с меньшим усердием и частотой работать ножом с вилкой, Костромиров решил сделать небольшой антракт между второй и третьей пинтой и принялся набивать голландским табаком короткую вересковую трубку.

— А интересный субъект этот кельнер, — заметил между тем Константин Петрович, поливая капусту с беконом соевым соусом. — Презанятный, я бы сказал. Обратили внимание? — Горислав Игоревич хмыкнул и вопросительно приподнял брови, ожидая продолжения. — Да. Такой, знаете, образчик настоящего, природного ирландца. Сангвиник желчного склада, — Костромиров прищурился, поднося к трубке зажжённую спичку, во взгляде его по-прежнему читался немой вопрос. — Заметили, какой у него своеобразный череп? Можно сказать, уникальный череп. Костромиров запыхал трубкой и закатил глаза, видимо, пытаясь вспомнить, в чём именно могло заключаться уникальное своеобразие черепа местного официанта. — А? Заметили? Удлиненный, приплюснутый с боков — натуральный кельтский долихоцефальный тип.

— Вот как? — Костромиров наконец раскурил трубку. — Разве существует какая-то особая кельтская форма черепа? Не знал.

— Безусловно, существует. Если верить этнологам.

— Антропологам, — поправил Костромиров.

— Ну, да. Оговорился. Конечно, антропологам. Но ведь и наука об этносах тоже чем-то таким похожим занимается.

— Нет такой науки! — заявил Костромиров.

— Вы меня удивляете, Горислав Игоревич, — с усмешкой заметил Сопоткин. — Иной раз я просто не знаю, смеяться или возмущаться безапелляционности ваших суждений. Так, стало быть, так-таки и нету? Смеею напомнить, что этнологию преподают и изучают в вузах. К примеру, на историческом факультете Московского государственного университета имеется кафедра этнологии. Кому-кому, а уж вам-то должно быть об этом хорошо известно...

— Знаю-знаю, — прервал его Костромиров. — Но что это доказывает? Я несколько не удивлюсь, коли в ближайшем будущем в том же МГУ откроется еще и кафедра закона божьего. И что же? Прикажете после этого немедленно уверовать? И потом, даже если некоторая научная дисциплина — та же этнология — эмпирически существует, из этого ещё не следует, что объективно существует её предмет. Думаете, для рождения такого предмета довольно лишь позаимствовать греческое слово? В таком случае и астрология — вершина научной мысли. Видите ли, дорогой Константин Петрович, всё дело в том, что я предпочитаю ясные формулировки... Вот скажите, что такое этот самый «этнос», изучением которого и призвана заниматься этнология?

— Но я же не этнолог и не этнограф, чтобы давать точные определения и толковать о терминах! — возмутился Сопоткин.

— Тогда просто попробуйте сформулировать, чем, по-вашему, «этнос» отличается от «народа», «нации», «расы», «народности», «племени» или даже «цивилизации»? Затрудняетесь? Должен вас успокоить — не вы один. Дело в том, что ни у кого из «столпов» сей науки вы тоже не найдёте не только внятного ответа на этот вопрос, но и непротиворечивого и сколько-нибудь чёткого определения «этноса». Уверю вас! Ни у Бромлея, ни у Пименова, ни у Токарева или Кузнецова...

— Ах, оставьте. Мне имена этих учёных ни о чём не говорят. Зато я довольно хоро-

шо знаком с трудами известного этнолога и историка Льва Николаевича Гумилёва. В своё время меня впечатлила его теория этногенеза...

— Я с большим уважением отношусь к этому занимательному писателю и схоласти, — вновь прервал собеседника Костромиров, — и готов согласиться с тем, что он этнолог, коль скоро непонятно, что собственно сие такое. Но боюсь, к истории он имел весьма косвенное отношение... Разве как талантливый популяризатор и интерпретатор-сказочник. Знаете, этакое шпенглеровского толка. Единственная область, в которой он действительно, кажется, слыл профессионалом — кочевниковедение. Во всяком случае, номадические цивилизации особенно милы его сердцу. Кстати, и у Гумилёва невозможно отыскать ничего похожего на научное определение этноса. Самое большее, на что он способен, это заявлять, что этнос, дескать, коллектив особей, противопоставляющий себя всем другим коллективам, или использовать порочный круг: этносы есть группы людей, различающиеся по этническому поведению, а этническое поведение — есть не что иное, как поведение, присущее некоторому этносу...

— Насколько я помню, — возразил Сопоткин, — Гумилёв считал этнос географическим явлением.

— Ну да, — усмехнулся Костромиров, — кому что, а Гумилёву — география. Кормящий и вмещающий ландшафт! Эдакий возврат к Гиппократу. Даже люди со средним образованием (на которых, по собственным уверениям, и рассчитывал этот писатель) знают, что кормит человека (в отличие от прочих животных) его собственный труд, а вовсе не ландшафт. А «вмещающая» роль у ландшафта отнюдь не больше, нежели, скажем, у Вселенной: так не признать ли этнос астрономическим явлением? Логика в заявлениях Гумилёва о географической природе этноса не более, чем если бы энтомолог, ни бельмеса не понявший в тараканах, заявил, что, поскольку он не может классифицировать их ни как психофизическое, ни как социальное явление, он определяет их как географическое явление, ибо любой таракан проживает где-то на Земле...

— Но его теория пассионарности...

— Я вас умоляю! Избавьте меня от этой псевдонаучной зауми. Можно сколько угодно фантазировать о пассионарной индукции, энергетическом поле, конвекциях и консорциях, вибрации биотоков, влиянии лунного света на рост телеграфных столбов, упражнять читательский интеллект рассуждениями о глубинной биологической природе каких-то географических явлений, оказывающихся вдруг на поверку биофизическими реальностями, облечёнными в социальную оболочку, но это ни на йоту не приблизит вас к пониманию мифического «этноса», а тем паче, к пониманию вполне реального исторического процесса. С тем же успехом ваш Гумилёв мог бы преподнести вместо упомянутых фикций и выдумок *телекинез, торсионные поля, апейрон с флогистроном*, а ещё честнее — *промысел божий*, и быть уверенным в том, что он этим что-то нам объяснил... И вообще, то, что называют концепцией Льва Гумилёва, давным-давно было выражено адептами чейского шаманизма. Причём гораздо более ёмко и доходчиво. Во всяком случае, без наукообразного бреда.

Константин Петрович сокрушенно покачал головой:

— Вижу, вы не большой поклонник учения Льва Николаевича...

— Вот-вот! В самую точку. В терминах вы не ошиблись: в случае с Гумилёвым именно и следует говорить об «учении» и его «поклонниках». Во-первых, превращение любой концепции, теории или гипотезы в непогрешимое по определению «учение» означает её «научную» смерть, а во-вторых, говорить о «последователях» непоследовательной концепции невозможно.

— И всё-таки чем же, по-вашему, вызвана популярность теоретических работ Гумилёва?

— Претензией на нетипичный подход к историческим проблемам в сочетании с крайней поверхностностью, даже небрежностью, успешно выдаваемой за энциклопедичность знаний. Только этим и ничем иным. Его «теории» — это антиэмпирическая доктрина, выраженная в профессорскую мантию псевдонаучных толкований. Зачастую он вообще перевоплощается в этакое «Жириновского от истории»... Такой метод весьма импонирует толпе... Впрочем, честно говоря, все мыслители, пытавшиеся создать более-менее связные исторические теории, немедленно попадали в капкан философского видения этой самой истории. Или, вернее сказать, псевдофилософского видения. Увы, но это так... Возьмите кого угодно — Гердера, Гегеля, Тойнби или любезного вашему сердцу Гумилёва — и при непредвзятом исследовании «умственных построений» оных авторов вы вынуждены будете признать вслед за лордом Расселом, что для того, чтобы выглядеть сколько-нибудь правдоподобными, их концепциям требуется хотя бы незначительное, но обязательное искажение фактов, подгонка и подтасовка событий со стороны самого исследователя и изрядное невежество со стороны его почитателей.

— Ух ты! Философия история тоже провинилась? Тоже «псевдонаучная заумь»?

— Очень уж развито на почве этой так называемой «философии истории» теоретическое словоблудие. Все эти структуралисты и постструктуралисты... Словечка в простоте не скажут.

— Вы что, вообще не допускаете обобщений в исторической науке?

— Отчего же, допускаю. Но только не методом дедукции. К истории применим лишь индуктивный метод.

— Не улавливаю разницу. Может, поясните?

— Охотно. Дедукция — это не научный, но как раз сугубо философский метод, доставшийся нам в наследство от древнегреческих мыслителей. Размышления и основанные на них выводы строятся при этом исходя из того, что исследователю кажется самоочевидным, а не индуктивно, сообразуясь с предметом наблюдения. Именно так поступали и поступают все творцы всевозможных исторических теорий. Они сначала извлекают из своего ума некую лучезарную аксиому, а после начинают подгонять под неё факты. Гумилёв — не исключение... Насколько помню, он сам писал, что сначала придумал свою «теорию пассионарности», а уж потом принялся строить на её основе всевозможные исторические зиккураты. Подтасовка фактов и событий при таком методе неизбежна. Научный метод полностью противоположен: добросовестный исследователь обязан индуктивно выводить принципы из наблюдений над отдельными фактами. Только так и никак иначе.

— Допустим. Но не кажется ли вам, что на основе такого строго научного подхода никаких широких обобщений сделать невозможно? Не умаляет ли он роль интуиции и озарения в деятельности ученого?

— Конечно. Но практика и опыт показывают, что все подобные «озарения» приносят науке один вред. Во всяком случае, совершенно бесплодны. Вообще, одержимость любыми «сверхценными идеями» в науке до добра не доводит. Таковая одержимость простительна лишь шизофреникам, но никак не ученым.

— Вона как? От этих утверждений недалеко и до тезиса о кризисе исторической науки. Широко, кстати, ныне распространённого. О бесполезности этой дисциплины.

— Ну уж нет! При чём тут это? — Костромиров возмущенно нахмурился и с явным раздражением запыхал трубкой. — Ничего похожего я вовсе не имел в виду. История — настоящая, а не выдуманная история! — необходима человечеству не меньше, чем память — каждой отдельно взятой личности. Выпадение функций памяти приводит, как известно, к идиотизму. Проявление же симптомов ложной памяти — характерный признак целого ряда тяжких психических заболеваний... Да, вы ещё упомянули о кризисе исторической науки... Так вот, этот самый пресловутый кризис, о котором усердно трубит нынешнее (да и вообще каждое новое) поколение исследователей-дилетантов, является, по существу, лишь кризисом самого поколения, но никак не науки... Это же очевидно. Я хочу только сказать, что история — это всего лишь наука о событиях. Так же как математика — наука о числах. Если вы не умеете считать, это ведь не значит ещё, будто математика пребывает в кризисе или даже «не существует», не правда ли?

— Но коль скоро вы отвергаете всякие исторические концепции, любую «философию истории», что же движет этими вашими историческими событиями? Какова их логика? Логика исторического процесса вообще?

— Ага. Вот это уже вопрос по существу. Поздравляю.

— Не увильвайте от ответа, профессор. Так что же движет историей?

— Случай.

Рука Сопоткина, подносящая ко рту вилку с кусочком розового бекона, замерла на полпути.

— Случай?!

— Увы. Все случайно в этом наислучайнейшем из миров.

— В самом деле?

— Я вполне серьёзно.

— Ну, знаете! Та еще теория! Не лучше всех прочих.

— Вероятно, — пожал плечами Горислав Игоревич. — Но, согласитесь, и ничем не хуже... Впрочем, я не претендую на создание или поддержку какой-то теории или концепции. Отнюдь. Это всего лишь моё внутреннее убеждение, не более... Видите ли, конечно же, любое историческое событие или цепь таковых событий обыкновенно не лишены *внутренней* логики. Во всяком случае, часто не лишены. Но! Я убеждён, что никакой *внешней* силы, влияющей на эти события, заставляющей их происходить так, а не иначе, именно в такой, а не иной последовательности, не существует. Ни гегелевской «абсолютной идеи», ни бергсоновской «интуиции», ни фактора «вызова-и-ответа» Тойнби, ни фетиша «рационализма» Макса Вебера, ни тем паче бердяевской «войны добра против иррациональной свободы» или гумилёвской «пассионарной индукции». Ни-че-го!

— Ничего, кроме случая? — уточнил Константин Петрович.
 — Именно. Ничего, кроме абсолютно беспристрастного случая.
 — Но случай не предполагает никакого поступательного движения, никакого прогресса. Только хаос.

— Так исторический процесс и нельзя рассматривать как эдакое радостно-поступательное движение человечества сквозь время и пространство в светлое будущее... В ряде случаев этот самый процесс заслуживает название прогрессивного не более чем прогрессивный паралич. Или подобен тому отвратительному языческому идолу, который, по словам Маркса, не желает пить нектар иначе как из черепов убитых. «Космический оптимизм» уместен разве в философии или теологии (да и то не всегда), но никак не в истории. Ибо согласитесь, Константин Петрович, история есть наука, совершенно не схожая со всеми прочими... Конечно, на первый взгляд, составляющие её предмет события, как великие, так и частные, вытекают одно из другого и вроде бы связаны между собою в своеобразную цепь. И можно представить, что разрыв одного звена таковой цепи неизбежно приведет к исчезновению или, по меньшей мере, видоизменению следующего. Но! Разве станете вы отрицать, что ни одно историческое событие, будь то великое, будь то частное, не только не позволяет с достоверностью предсказать, что за оным воспоследует, но, напротив, весьма часто даёт основания полагать, будто из него получится нечто абсолютно противоположное ожидаемому?..

Собственно, история человечества прямо-таки пестрит примерами, когда одинаковые предпосылки приводили к совершенно разным последствиям... Поэтому тот, кто берётся отстаивать безусловный детерминизм, пусть и чисто материалистический, вопреки всему верит в жёсткую заданность истории её собственными закономерностями, тот волей-неволей превращается из учёного в очередного безумного Нострадамуса. Ага... Так не означает ли это, что в истории вовсе нет никаких определённых законов, правил, ключей, рекомендаций и прочих отправных точек? Не означает ли это, коротко говоря, что бал в оной правит один лишь всемогущий случай?.. Ведь если у истории действительно есть какие-то законы, то возникает возможность не только исследовать с их помощью прошлое и настоящее, но и предсказать её, истории, дальнейший ход. Но ход современной истории, вне всякого сомнения, непредсказуем. Разве не складывается он из событий зачастую совершенно невозможных? Или возникающих под влиянием скрещения авторитарных волевых усилий. Не спорю, возможно порой чисто случайно предугадать те или иные события будущего. Однако никак не в целом это самое будущее!.. Это ровно как и в естественных науках: можно предсказать, что когда-нибудь человечество откроет те или иные тайны Вселенной, но нереально сейчас же, загодя озвучить, каковы будут эти открытия. В противном случае сам процесс познания теряет всякий смысл. Не находите?

— Готовы привести пример?

— Какой такой пример?

— Пример, демонстрирующий и подтверждающий ваше малопривлекательное и, видит Бог, странное для современного ученого идеографическое *credo*. Убедительно подтверждающий и наглядно демонстрирующий.

— Хорошо, попробую... — Костромиров на мгновение задумался, пригубил третью пинту стаута, затем продолжил: — Представьте себе Пекин... нет, скорее, Флоренцию... эдак середины, а вернее, конца тринадцатого века...

— Гвельфы и гибеллины? — усмехнулся Константин Петрович.

— Да, гвельфы и гибеллины... Ага. И те и другие за давностью лет успели уже порядком подзабыть причины взаимных распрей и обид, десятки раз поменять политические лозунги, девизы, пристрастия и приоритеты. Так что гвельфы отнюдь не чуждаются ныне помощи императоров, а гибеллины не брезгают порой обращаться к авторитету Рима, дабы заручиться поддержкой *pontifices maximus*. Короче, всё смешалось в первом граде Тосканы... Но вражда партий, тем не менее, не затихает. Хотя и становится гораздо менее ожесточённой, кровавой и бескомпромиссной, нежели в начале столетия. Что называется, более цивилизованной... Правда, совсем недавно виднейшие гибеллины изгнаны из города, но без особенного кровопролития, противники их ограничились грабежами и поджогами. Вероятно, именно это позволяет хронистам рассуждать о «золотом веке», чуть не в один голос твердить о том, что Флоренция достигла наивысшего счастья и процветания, как в отношении величия и силы, так и по многочисленности жителей. Дескать, никогда ещё сей город не был в лучшем состоянии, ибо никогда ранее не достигал он такой многолюдности, богатства и славы... Граждан, способных носить оружие, в самом городе насчитывается около тридцати тысяч человек, а в подвластных ему областях — не менее семидесяти тысяч. Уже вся Тоскана склонилась перед Флоренцией — все там либо её подданные, либо союзники. И, если средневековые анналисты и логографы не привирают, беззаботные флорентийцы, уверившись в сугубой благосклонности к ним фортуны, проводят едва

ли не всё время в удовольствиях, неге и мирных развлечениях, в вечных пирах; уже не на один только ежегодный майский праздник, но чуть не каждый божий день весёлые кампании кавалеров и дам устраивают балы, шумные гуляния и вечеринки... Понятное дело, такая идиллия не может не возбудить гнев и зависть врага рода человеческого, и тот, воспылав, по обыкновению, сатанинской злобой, начинает плести дьявольские козни...

Константин Петрович поперхнулся куском бекона и закашлялся, деликатно прикрывая рот салфеткой:

— Кхах! Кхах!.. Умоляю, профессор! Неужто вы решили поквитаться со мной за недоброй памяти легенду о Безголовом призраке? Будь она неладна! Намерены попотчевать меня ещё одной мистической историей?

— Ну что вы, на сей раз только факты и ничего, кроме фактов, — заверил приятеля Костромиров. — Никаких inferнальных изысков.

— Вот и славно. А то, признаюсь, я ещё не успел вполне переварить впечатления от наших кладбищенских приключений.

— Ага! А кто уверял, будто поучаствовать в чём-то подобном — чуть ли не заветная мечта всей его жизни? Майский, так сказать, день, именины сердца.

— Ах, Горислав Игоревич, только не подумайте, что я раскаиваюсь! Совсем нет. Но хорошенького понемногу. Окултные явления в чрезмерных количествах — вещь для воображения крайне вредная и даже пагубная. Увы, превратившись в нечто обыденное, они теряют всякую привлекательность. Как говорил другой классик: даже самая приятная пища, принятая сверх необходимости, производит в желудке боль, икоту и чревоущание.

— Не могу с вами не согласиться. Мне продолжать?

— Без сомнения. Но не забывайте и о земной пище, не то остатки вашего чудесного рагу остынут и превратятся во что-нибудь столь же неудобоваримое.

Горислав Игоревич кивнул и спустя короткое время продолжил:

— Итак, Флоренция процветает... Ей нет нужды опасаться ни императора, ни папы, ни изгнанных из города граждан, и у неё хватает сил противостоять всем прочим итальянским государствам. Но беспечные флорентийцы не ведают, что первая в цепи роковых случайностей, тех самых, которые призваны разжечь в их родном городе пламя невиданной доселе смуты, уже произошла. Причём произошла лет за восемьдесят с гаком до описываемых событий и совершенно в другом городе... В те далёкие времена чуть севернее Арно, в Пистойе, проживал некий мессер Канчельере, разбогатевший купец. У этого купца было несколько сыновей от двух разных жён. Все они, благодаря приличному наследству, выбились в кавалеры, тоже стали людьми достойными и зажиточными и, в свою очередь, наплодили многочисленных детей и внуков, так что в рассматриваемое время этот род, насчитывая более ста мужчин, способных держать оружие, богатых и состоятельных, оказался не только крупнейшим в Пистойе, но и одним из самых влиятельных в Тоскане... И вот, от излишнего достатка и по наущению дьявола, между двумя ветвями сего рода — потомством от разных жён мессера Канчельере — вспыхнула вражда. Всё семейство разделилось на две непримиримые партии: «белых» (по имени первой жены родоначальника — Бьянки) и «чёрных», которые происходили от второй супруги и назвались так просто в противоположность первым. Подлинные причины внезапно возникшей ненависти достоверно неизвестны, но говорили, будто лошадь кого-то из чёрных Канчельери случайно поклевала копытами охотничьего пса, принадлежащего одному из белых Канчельери, оттого, дескать, всё и пошло. Ага... Прискорбный сей случай привёл к многочисленным столкновениям между белыми и чёрными, однако не настолько существенным, чтобы дело дошло до применения оружия; и, может быть, взаимная враждебность эта и не возымела бы никаких печальных последствий и, в конце концов, утасла сама собой, если бы её не усилили новые обстоятельства... Нет, Константин Петрович, как хотите, а придётся нам с вами заказать ещё напитков. «Гиннесс» мой весь вышел, а в горле совсем пересохло. Тушёная грудинка с оладьями в рот не лезут. Так что продолжать рассказ без умягчения голосовых связок чем-нибудь эдаким просто немислимо... Гулять, так гулять... — сказал это, Горислав Игоревич отыскал взглядом кельнера и подозвал к столику. — Что у вас имеется из напитков, милейший?

— О, сэр! — официант расплылся в дежурной улыбке. — У нас есть кофе по-ирландски, капучино, к нему — замечательный кофейный пудинг, пять сортов чая...

— Отлично. Принесите нам пару бутылочек «Кьянти Классико», выдержанного.

— Сию минуту, сэр, — улыбка официанта стала заметно теплее. — Чего-нибудь ещё? Быть может, что-то из закусок?

Горислав Игоревич вопросительно посмотрел на Сопоткина, тот отрицательно покачал головой, и официант удалился.

— Так-так!.. На чём бишь я закончил? — Горислав Игоревич видимым образом

оживился и продолжил рассказ в гораздо более быстром темпе, иногда сбиваясь на скороговорку: — Ага! Вот я и говорю, принесла как-то нелёгкая Лоре, сына мессера Гульельмо, и Джери, сына мессера Бертакки (и тот и другой были членами семейства Канчельери, но первый — из чёрных, а второй — из белых), в один и тот же трактир, и угораздило их затеять игру в кости. За игрой они из-за чего-то повздорили, сеньор Лоре выхватил кинжал да и отчекрыжил мочку уха сеньору Джери. Хотя рана была пустяшной и само происшествие не стоило выеденного яйца, однако мессер Гульельмо огорчился и, надеясь дружелюбием поправить дело, лишь ухудшил его, когда наказал сыну пойти к отцу раненого и просить у того прощения. Лоре повиновался отцу, однако сей гуманный поступок возымел обратное действие: жестокосердный мессер Бертакки велел слугам схватить Лоре и отрубить ему кисть правой руки, для большего же поношения сделать это на свином корыте. При этом он сказал: «Возвращайся к отцу и скажи ему, что раны лечатся железом, а не болтовнёй!» Само собой, таковая ничем не оправданная свирепость возмутила мессера Гульельмо, и он приказал всем своим взяться за оружие для отмщения за неё, а мессер Бертакки, в свою очередь, вооружился для самозащиты. Так и начался раздор не только в этом почтенном семействе, но и во всей Пистойе. Что ни день, между белыми и чёрными стали происходить кровопролитные схватки, было немало побитых насмерть людей и разрушенных домов. Замириться они никак не могли, хотя и изнемогали в этой борьбе... Из опасений, как бы беспорядки в подвластной им Пистойе не привели к общему восстанию против правившей тогда партии гвельфов, флорентийцы вмешались, взяли на себя управление городом, а оба клана Канчельери скопом переселили во Флоренцию, в надежде держать их под контролем и тем, в конце концов, достичь примирения. В результате, правда, вышло, что не флорентийцы примирили между собой Канчельери, но те раздробили и рассорили промеж собой и без того отравленных духом партий флорентийцев, отчего напасти стали расти день ото дня...

Официант принёс вино, откупорил бутылку и налил несколько рубиновых капель в бокал Горислава Игоревича; тот с видом знатока поболтал его, понюхал, наконец, попробовал густой благоуханный нектар и удовлетворённо кивнул. Официант наполнил бокалы и вновь удалился. Чокнувшись с Сопоткиным и медленно осушив бокал, Горислав Игоревич продолжил, но теперь уже более размеренным и неспешным тоном:

— Надобно заметить, что ко времени переселения пистойцев (а именно этот период нас с вами интересует), во Флоренции тоже имеются два могущественных, соперничающих промеж собой семейства — Черки и Донати... Во главе дома Черки стоит мессер Вьери де Черки, а род Донати возглавляет мессер Корсо Донати. Оба этих клана равно схожи благородством происхождения, богатством, знатностью и многочисленностью зависящего от них люда. И оба принадлежат к партии гвельфов. Различие между ними только в одном: если первые отличаются грубостью и неуживчивостью, то последние всегда готовы склониться к ссоре и зависти... И вот белые Канчельери селятся в домах Черки, будучи с ними в родстве, а чёрные — за Арно, в жилищах и замках Донати, с которыми также находятся в каком-то отдалённом свойстве... С сего момента и начинается закат «золотого века» Флоренции: как одна паршивая овца портит все стадо, так и проклятые семена раздора, занесённые из Пистойи и упавшие на благодатную почву старинной вражды Черки и Донати, распространяются по всему городу и окрестностям, позднее захватывая всю Тоскану, а за ней — всю Италию... Сперва большинство домов и семейств нобилей распадают на сторонников чёрных и белых, Донати и Черки, вслед за ними и пополены делятся на ярких сторонников одной или другой партии; при этом к партии белых, возглавляемой ныне мессером Вьери де Черки, примыкают и остатки находящихся во Флоренции гибеллинов, что, само собой, заставляет пламя вражды разгореться еще пуще... Приоры и другие благонамеренные граждане начинают опасаться, как бы дело не дошло в любой момент до вооружённого столкновения, и не напрасно, ибо враждебные чувства продолжают набухать, и теперь достаточно ничтожной капли, чтобы переполнить чашу. Что, собственно, и случается под вечер майского праздника 1300 года... Представьте себе конец чудесного весеннего дня, знатная молодёжь обеих партий прогуливается верхом по городу, любуясь общественными увеселениями; несколько юношей из семейства Донати со своими друзьями проезжают поблизости от площади Санта Тринити и останавливаются поглазеть на танцующих женщин; туда же приближаются верхами человек тридцать из клана Черки. Не зная, что впереди молодёжь Донати и тоже желая посмотреть на танцы, они на своих конях пытаются прорваться в первые ряды и бесцеремонно теснят всадников Донати. Те, сочтя себя оскорблёнными, обнажают мечи, и завязывается натуральное сражение. И хотя на первый раз обходится без смертоубийств — стороны разъезжаются, обменявшись серией ударов и получив несколько ран, — но у некоего мессера Рикovere де Черки оказывается напрочь отрублен нос, что и приводит к необратимым последствиям: сразу после роковой стычки весь город

вооружается, и во Флоренции вспыхивает жесточайшая смута, а в рядах гвельфской партии начинается полнейший разброд...

— Горислав Игоревич! — прервал рассказчика Сопоткин. — Должен предупредить, что если вы и дальше намерены множить количество персонажей с прежней устрашающей скоростью, я совсем запутаюсь. И ваш труд пропадет втуне. Даже сейчас мне чрезвычайно сложно уследить за всеми этими Канцельери, Черки и Донати...

— Хорошо, — Костромиров милостиво кивнул, наполняя бокалы себе и собеседнику, — так и быть, я не стану в подробностях описывать все перипетии дальнейшей борьбы белых и чёрных. Воспользуюсь бритвой Оккама и постараюсь не плодить сущности сверх необходимого. Тем паче, память у меня уже не та, и я сам боюсь напутать с именами... Короче, буду краток. Так слушайте дальше... Ага, — продолжил Горислав Игоревич, — словом, как я уже сказал, во Флоренции кипение партийных страстей и столкновение противоборствующих интересов вылилось, наконец, в открытую войну между чёрными и белыми гвельфами и примкнувшими к последним гибеллинами. Кровавые стычки становятся постоянными. Удача клонится то на одну, то на другую сторону: иногда победу празднуют приверженцы Донати, порой чаша весов опускается в пользу Черки... Капитаны гвельфской партии то и дело взывают к папе Бенедикту VIII, тот дважды, а то и трижды, шлёт во Флоренцию своего легата, дабы помочь в урегулировании конфликта, но всё без толку: каждый раз латеранский легат — кардинал-португалец Маттео д'Аквапарта — вынужден удалиться с великим неудовольствием, призывая в гнев «чуму на оба этих дома» и наложив на город интердикт от имени римского первосвященника... Наконец, после очередной, очень уж ожесточенной стычки, синьория по мудрому совету одного из приоров — мессера Данте Алигьери — решается изгнать главарей обеих партий. Но поскольку сам мудрый советчик принадлежит к партии белых, то реальному изгнанию подвергается лишь мессер Корсо Донати со товарищи, удалённые же из города белые вскоре возвращаются под теми или иными благовидными предлогами. Раздражённый таковой явной несправедливостью мессер Корсо и его сторонники отправляются в Рим и убеждают папу послать в качестве посредника во Флоренцию Карла, графа Валуа, брата французского короля Филиппа Красивого, который (граф, а не король — излишнее примечание, если вы не пурист) аккурат в это самое время случайно проезжает мимо, воевать Сицилию... Тот охотно соглашается взять на себя миссию благодетеля Тосканы, тем паче что выступать в поход против владеющего спорным островом какого-то — убей Бог, если помню, какого! — представителя Арагонской династии намерен лишь будущей весной и, собственно, сам пребывает в недоумении, зачем именно сейчас припёрся в Италию... В свою очередь, папа Бонифаций назначает Валуа генерал-капитаном церковного государства, а также князем-миротворцем в Тоскане. И вот в День всех святых (обратите внимание на эту сакраментальную дату!) Карл Валуа в сопровождении баронов и пяти сотен французских рыцарей вступает во Флоренцию; покуда он в кафедральном соборе Санта Мариа дель Фьоре (в присутствии подеста, приоров, членов всех советов, епископа и вообще всех добрых граждан Флоренции) клянётся восстановить мир и благосостояние города, мессер Корсо Донати, с ведома коварного графа и в сопровождении вооруженных приспешников, проникает в город, освобождает заключённых из тюрем и захватывает синьорию... Как водится, подворья, лавки, дома и дворцы белых подвергаются нещадному разграблению, а многие из приверженцев мессера Вьери де Черки расстреляны с жизнью. Ага... Но мы с вами договорились не вдаваться в излишние детали... Хорошо, скажу только, что, хотя партия черных во главе с Корсо Донати захватила власть в городе, однако окончательное изгнание белых происходит лишь спустя несколько месяцев. И тоже благодаря чистой случайности... Так вышло, что однажды вечером, когда Карл Французский что-то такое праздновал во дворце приоров, один из его баронов, некий корыстолюбивый проныра и интриган из Лангедока, хватил лишку и задремал за столом у своего сеньора; и вот у спящего из-за пазухи нечаянно вываливается пакет с целой кипой документов... Графа, понятное дело, разбирает любопытство, он тут же, между переменной блюд, знакомится с этими бумагами и с возмущением узнает, что буквально у него под носом, среди собственной его свиты созрел преступный заговор, имеющий целью изгнание его и семейства Донати из города. Особых сомнений в готовящемся мятеже не возникает, ибо письма, акты и договоры не только скреплены очень похожими на настоящие подписями и печатями соучастников (большинством Черки и изменником-лангедокцем), но и предусмотрительно заверены у нотариуса. Дабы уничтожить крамолу в зародыше, граф немедленно дает распоряжение объявить всех белых — как пополанов, так и нобилей — вне закона, имущество конфисковать, дома разрушить, а самих приговорить к изгнанию... Среди других ровно таким же репрессиям подвергается и Данте: его, будто второго Демосфена, обвиняют во взяточничестве, подкупе и приговаривают ко временному изгнанию и крупному штрафу. Поскольку же поэт находится в это время

в Риме, при папском дворе (отстаивая интересы клики белых гвельфов), и не успевает обжаловать решение, судьи постановляют изгнать его навеки, а в случае появления во Флоренции — сжечь на костре...

— Послушайте, — вновь прервал рассказчика Константин Петрович, — я твёрдо помню... Точнее говоря, мне кажется, большинство историков склоняются к мысли, что Данте был гибеллином, а вовсе не гвельфом, пускай и белым...

— Ерунда, — пренебрежительно отмахнулся Костромиров. — Впрочем, гвельфом или гибеллином, какая разница? Все тогдашние группировки объединялись уже не на почве политики, но на основе приближенности к тому или иному клану... И вообще, я отнюдь не затем поведаль вам эту длинную историю, не для того, чтобы спорить о партийной принадлежности великого поэта.

— Да-да, я помню: чтобы примером доказать вашу странную теорию...

— Да не теорию! — Костромиров протестующе повысил голос. — Совсем не теорию! Я уже сказал, что не претендую ни на что подобное. Боже упаси! Если угодно, можете называть это чем-то вроде рабочей гипотезы, но не более того... Полагаю, историку вполне позволительно и даже иногда уместно оперировать гипотезами. Но при условии, что он ни в коем случае не стремится выдать их за априорные истины. Сейчас я именно делюсь мыслями, которые, конечно же, не склонен догматизировать. Напротив, я готов обсуждать любые другие точки зрения...

— Тогда я не совсем понял смысл приведённого вами примера.

— А между тем, он весьма прост. Судите сами: общеизвестно, что именно изгнание предопределило величие Данте как поэта. Практически все исследователи его творчества сходятся в мысли, что, не будь оно, и грандиозное здание «Божественной комедии» никогда не было бы воздвигнуто... Вероятнее всего, он так и остался бы для потомков автором «Новой жизни», серии лирических стихотворений, а равно некоторых столь же любопытных, сколь и прочно позабытых ныне латинских трактатов. Но гений его никогда не отлился бы в те воистину титанические формы, какие он принял после рокового удара судьбы, который, кстати, очень удачно настиг его как раз в самом расцвете сил... Помните, «*nel mezzo del cammin di nostra vita*», ну и т.д. Проживи он спокойно и безмятежно отпущенные ему годы в родной Флоренции, разве сумел бы он дать бессмертное выражение собственным страданиям и душившему его гневу? Из мелких бурь, тревоживших крошечную итальянскую республику, создать величайшее поэтическое творение христианского средневековья...

— Да уж! — усмехнулся Константин Петрович. — Что говорить, постарался на славу: всех личных недругов и политических противников запихнул в свой страхолудный поэтический ад, обрёл на вечные муки.

— Довольно изящная месть, согласитесь. И муки тоже, между прочим, в достаточной степени изощрённые. Кстати, нельзя отрицать, что не только демография «отверженных селений», но и персональный состав обитателей рая у нашего «*altissimo poeta*» весьма разношерстен. В выборе блаженных он столь же пристрастен, как и выборе проклятых: чего стоит хотя бы тот же бывший трубадур Фолькет. Вознести подобного монстра на «небо любви»! Ха! Это его-то, кровавого епископа Тулузского!.. Однако я опять не к тому... Дело вот в чём: ведь коли следовать строгой логике, то изгнание Данте, а значит (как мы только что выяснили), и появление на свет «Божественной комедии», предопределила та самая цепочка дурацких случайностей, длинная вереница событий — результатов вполне стихийного столкновения и скрещения людских страстей, которую я перед вами развернул... Выходит, не покалечь кобыла в неведомо каком затёртом году борзого пса, не повздорь два вертопраха за игрой в кости, не остервенись родитель одного из них, не лишись носа Риквере де Черки (который, кстати, ничего, кроме этого носа, в истории по себе и не оставил), ну и так далее... так ни черта бы и не было. Получается, всю эту лавинообразную серию каузально (по крайней мере, на первый взгляд) обусловленных событий запустила лошадь? А может, охотничий пес? Следовательно, дантов шедевр, его роета *sacra* обязана своим существованием паре бессловесных животин, которых при всём желании трудно было заподозрить в умении слагать стихи, да к тому же ещё и «новым сладостным стилем». Вот ведь оно как.

— Ну, это уж вы снова утрируете! — негодуяще вскричал Константин Петрович.

— Разве? Но, как вы понимаете, я изложил вам одни только голые факты. И заметьте, ни единый из этих случайных фактов сам по себе не противоречит ни законам природы, ни обыкновениям человеческого общежития. Каждый из них вроде бы является вполне логичным следствием предшествующего и, в свою очередь, влечёт за собой последующие. Но! Разве хоть какое-то из названных событий, а тем паче всю их последовательность, можно с полным основанием назвать чем-то закономерным? Вытекающим из неких общих принципов, дефиниций или алгоритмов истории. Или наоборот: возможно ли из совокупности ряда факторов, определяющих те или иные

исторические события и изменения, выделить главный, основополагающий, тот самый, что якобы и должен способствовать выявлению неких объективных исторических законов? Нет и ещё раз нет. В лучшем случае, их возможно классифицировать как частное сочетание естественных инстинктов, страстей и непредсказуемых флуктуаций, смесь относительного порядка и абсолютного хаоса.

— Вам не кажется, что вы впадаете в тот же грех, в котором недавно сами обвиняли едва не всех подряд историков? Не вливаете ли вы старое вино в новые мехи? Не подгоняете ли факты под собственную концепцию «спонтанной истории»?

— Ага! Вы заметили, — довольно произнёс Костромиров.

— Не то чтобы я что-то заметил, — ответил Сопоткин, — в вашем изложении всё действительно выглядит очень убедительно и логично. Но смутные подозрения меня всё же посетили...

— Вот видите, друг мой, я же предупреждал вас: не верьте никаким так называемым «теориям», даже самым привлекательным.

— Ну, уж в привлекательности ваши идеи обвинить никак нельзя!

— Неважно. Я и правда изложил вам только факты. Однако при этом некоторые незначительные детали незаслуженно выпятил, а другие, напротив, опустил или сгладил. И вот результат — вы уже почти готовы поверить в абсолютную истинность моих рассуждений... Увы, мир как «огромная вечная загадка» не совпадает ни с какими, даже самыми стройными, логическими конструкциями. Зачастую не совпадает он и с нашими непосредственными ощущениями. Он противостоит им как независимая и вовсе не склонная к гармонии реальность. Многие из моих коллег вообще убеждены, что единственную и окончательную историческую реконструкцию создать в принципе невозможно. Самое большее, чего удаётся достичь, — это предложить несколько наиболее правдоподобных гипотез, которые не способны истребить друг друга научными средствами... Поэтому я и говорю: отбросьте всякие попытки глобального осмысления исторического процесса. Ибо человечество в такой же степени способно постигнуть законы своего собственного развития, в какой обитателям муравейника очевидны гармония и строгий порядок их суетливого существования.

— Но это же абсолютно бессмысленно! — воскликнул Константин Петрович.

— Именно, — Костромиров кивнул с явным удовлетворением. — О чём я вам и толкую.

— Не понимаю... — Константин Петрович пожал плечами и бросил на собеседника скептический взгляд сквозь на треть наполненный вином бокал. — В чём же тогда высший метафизический смысл истории человечества?

— Смысл? Какой еще смысл? Если всё рассматривать с точки зрения смысла, так наша жизнь, в конце концов, сведётся лишь к одному: к полезному удобрению почвы да насыщению атмосферы углекислым газом. Всякие поиски глубинного метафизического смысла, всякий универсализм в исторической науке пагубны.

— Так-таки сразу и пагубны?

— Ну, может быть, и не пагубны, — вздохнул Костромиров, — но бесплодны уж точно. И всегда до безобразия тривиальны.

— Мне кажется, вы и сами высказываете сейчас отнюдь не непреложные истины, но лишённые всякой ценности трюизмы.

— Трюизмы — безусловно. Но истины не становятся ложными или лишёнными ценности оттого только, что банальны. Истина всегда банальна, а непреложная истина, ко всему прочему, банальный плеоназм.

— Или я начинаю путаться в ваших псевдопарадоксах, или вы намеренно противоречите сами себе, — недовольно заявил Константин Петрович. — Однако вы упомянули, что бытие человеческого общества не склонно к поступательному развитию. Что же, в таком случае, остаётся? Цикличность? Спиральная повторяемость истории? Или хаотичное броуновское кипение? Простое скопище дискретных событий?

— Вы опять пытаетесь перво-наперво набросить на историю узду хоть какой-нибудь концепции... Это путь в никуда, дорога напрямик в гнилые болота философских туманов и заблуждений. Там вас ждут лишь мерцающие огоньки обманчивых смыслов, которые завлекут в трясины абстракций, да ядовитые испарения безответственных фантазий, что вызывают мистические грезы. Нужно изучать события, подвергать их всестороннему анализу, а уж после (коли очень хочется) синтезировать некие теории. Никак не наоборот. Правда, это никоим образом не отменяет того факта, что и в последнем случае ваши теории, скорее всего, окажутся ошибочными.

— А вы опять уходите от ответа.

— Нисколько. Дело в том, что, задавая подобные вопросы, то есть вопросы о смысле и цели исторического процесса, а значит, и о цели и смысле жизни вообще, вы невольно и априорно предполагаете, что в природе есть какая-то цель и какой-то смысл. Но ведь об этом мы с вами давеча говорили.

— Как же, помню, — хмуро заметил Константин Петрович. — Вы утверждали, что ни цели, ни смысла в жизни нет и быть не может... Знаете, я много думал после этого нашего первого разговора и пришёл к выводу, что ваше заявление, по существу, столь же голословно, как и обратное. Ведь его так же невозможно доказать.

— Отчего же? Подумайте сами: коли мы спрашиваем себя, какова цель нашей жизни, так должны, прежде всего, предположить, что любая жизнь имеет некую определённую цель. Так? Но всякая жизнь есть лишь единичное проявление общей жизни природы, жизни нашей планеты, планетарной системы, галактики, да и универсума в целом... А если это так, то мы уже обязаны допустить, что и общая жизнь природы и универсума имеет определённую цель. Последнее же допущение, в свою очередь, немыслимо без признания реальности сознательного, направляющего и руководящего властелина вселенной. Как его ни обзывай — мировым духом, вседержителем, демиургом, перводвижателем, верховным зодчим, Иадаваофом или Господом Богом. Впрочем, нечто подобное, кажется, уже говорил нелюбимый мною Нордау... Ага. Тем не менее, человек, верующий в Бога, тотчас же утрачивает всякое право спрашивать себя о цели собственного существования, о цели и смысле существования всего человечества. Ибо этот вопрос является дерзким притязанием, попыткой ничтожной твари выведать планы своего творца, шулерским образом заглянуть ему в карты, возвыситься до всеведения! К тому же такой вопрос ещё и абсолютно празден, ибо религия уже ответила на него исчерпывающим образом: цель жизни человека в том, чтобы любить, бояться и славить Господа; всё прочее — от лукавого... С другой стороны, неверующий также не должен задаваться вопросами о смысле и цели бытия. Так как оба этих синонимических понятия могут существовать (с точки зрения материалистического ума) лишь в человеческом сознании и не находят себе, ввиду отсутствия мирового сознания, места в природе. Коль скоро не существует трансцендентного разума, то и природа знает лишь причинность, а не цель. Но если смысла и цели нет в природе, то не может её быть и в любом отдельном её представителе. Откуда же им, в таком разе, в самом деле, взяться?.. Другими словами, уж коли нам так охота задавать всякие риторические вопросы, то мы должны спрашивать себя не «зачем мы живём?», но «почему мы живём?» А на последний вопрос исчерпывающий ответ даёт уже не религия, но наука и особенности взаимоотношения полов...

— А если мне не близка ни та, ни другая крайность? — прервал тираду профессора Константин Петрович. — Коль скоро я не могу отнести себя ни к ортодоксально верующим, ни к числу убеждённых адептов позитивного материализма. Ведь только для таковых и хороши подобные объяснения.

— Ах да, я и позабыл о вашей склонности к идеализму трансцендентального толка, — с благожелательной улыбкой воскликнул Костромиров. — Вы же давеча мне говорили... Впрочем, вам, как художнику слова, то есть натуре поэтической и увлекающейся, это даже идет.

— Благодарю за комплимент, — отозвался Сопоткин, — если, конечно, это комплимент. Но мне действительно ближе христианизированный пантеизм ранних немецких мистиков. Или тот же Шеллинг, например. Кстати, в отличие от вас, историка, он как раз видел в развитии человеческого общества (как и в целом Вселенной) вполне ясную цель.

— И что же это за цель? — поинтересовался Костромиров с лукавой ухмылкой.

— А вы будто не помните!

— Может, и помню, но хотелось бы услышать вашу интерпретацию.

Константин Петрович пожал плечами, отважно отщипнул кусочек совершенно несъедобного на вид голубого сыра, запил глотком вина и на минуту задумался; наконец, морщины на его челе разгладились.

— Цель истории, по Шеллингу, движение к абсолюту, а точнее, воссоединение с ним, — сказал он.

— Ага. Вот именно! — Костромиров торжествующе и с угрозой воздел к небу (вернее, к потолку) вилку с последним ломтиком маринованной свинины. — А что есть оный абсолют? Когда не ошибаюсь, так ваш Шеллинг именует творца или родителя Вселенной. Верно ведь? Но воссоединение с Богом — это, собственно, конец земного существования, смерть, проще говоря. Что же получается? Цель человечества, его истории, универсума вообще — самоуничтожение? Хороша цель! Прямо буддизм какой-то... Не о том ли я вам толковал десять минут назад? Нет, увольте, не вижу я никакого высшего метафизического смысла в слиянии с шеллингианским абсолютом... И потом, — тут тон профессора обрёл вполне материальную весомость, — если верить любезному вам Шеллингу и его последователям, то порождение абсолютом всего сущего никоим образом не может быть объяснено и понято из законов разума и природы. Дескать, образование Вселенной, само начало мира, истории и т.п. — совершенно иррациональная и даже греховная, а потому весьма прискорбная случайность. Ибо яв-

ляется актом отделения от универсального, божественного начала. Отсюда, мол, и неутомимое стремление к возврату прежней цельности, к воссоединению с абсолютом. Но раз само возникновение мироздания есть акт случайный, то какой же должна быть его история?.. Короче говоря и возвращаясь к первоначальной теме нашего разговора, с какого боку ни подходи к поднятой вами проблеме, к каким авторитетам ни обращайся, ответ останется неизменен: единственным «движителем» истории является случай. Совсем не человеческое произволение. И уж, конечно, отнюдь не вселенский разум или божественный логос. Человечество никогда не представляло — не представляло и сейчас, куда оно идёт. Приписывать ему какую-то цель — значит создавать обманчивые миражи и плодить безответственные утопии.

— Ну что ж, вот и выходит, что из всех подобных «истин» беспросветно-махрового позитивизма напрашивается один-единственный вывод! — с воодушевлением воскликнул Сопоткин и от волнения даже привстал с места. — И вывод этот сформулирован как раз религиозными мыслителями: непрменным условием достижения смысла жизни является вера человека в существование Бога как абсолютного блага, вечной жизни и вечного света истины. То есть тех обязательных (пускай и абстрактных) категорий, которые только и позволяют ему приобщиться к подлинной, божественной жизни, на ней утвердить, ею освятить собственное брэнное существование и таким образом наполнить его смыслом, самому обрести подобие и ответ божественности!

— Эх вас разобрало, — удивился Костромиров. — Между прочим, если вы сядете, вам будет гораздо удобнее говорить... Однако следует ли понимать так, что саму по себе бессмысленную бесцельность мироздания, человеческой истории и жизни каждого индивида в отдельности вы не отрицаете? Ну то есть в принципе?

— Во все нет, — поспешил заверить историка Константин Петрович. — Но смею напомнить, что многие христианские мистики даже из такого откровенно пессимистичного постулата находили, по крайней мере, два выхода...

— И какие же?

— Во-первых, мир немедленно обретает смысл и цель, если предположить, что всё сущее и есть Бог...

— Но это опять же чистой воды пантеизм, — нетерпеливо возразил Костромиров. — А ведь как раз с христианских позиций он и не выдерживает никакой критики: в подлунном мире безраздельно царит энтропия, он подчинен всеуничтожающему потоку времени... Как бы мы ни восхищались грандиозной сложностью мироздания, как бы ни трепетали перед безмерностью его глубин, но уже одно безусловное господство в нём страданий, зла и объёмлющей всё и всех тленности свидетельствует о его *безличной жестокости*... Какой уж тут, в самом деле, Бог? Какой всемогущий и всеблагий Творец? С точки зрения христианства, словоупотребления *Deus est omnia*, равно как и *Deus est natura* — суть внешние, пустые привески к атеистическому мировоззрению, не более.

— Предположим, — не стал спорить Сопоткин. — Но есть и второй выход. У одного из видных православных философов я обнаружил следующую поразившую меня мысль... Без сомнения, мир наш — лишь ничтожный комочек мировой грязи, летящий и кружащийся в затерянном уголке бездушного бесконечного пространства; с этой точки зрения он, безусловно, лишен всякого смысла. Отчего же тогда мы никак не желаем удовлетвориться простой констатацией сего факта? Констатацией всеобщей бессмысленности жизни. Осознавая её разумом, не принимаем душой. Ответ прост и содержится в самом вопросе: как раз потому, что понимаем и разумно утверждаем эту бессмысленность. И действительно: раз мы в состоянии её понять, значит, не всё на свете и не всецело бессмысленно. Есть, по крайней мере, осмысленное познание — а именно познание той самой бессмысленности мирового бытия... Когда бы мир и жизнь являли собой сплошной хаос слепой материи, откуда бы взялись существа, осознающие это и высказывающие? Таким образом, утверждение абсолютной и всеобщей бессмысленности бытия само бессмысленно, ибо противоречиво — будучи актом разумного познания, оно опровергает собственное содержание.

— Не находите, что это лишь пустой и довольно жалкий софизм? — поинтересовался Костромиров.

— Не спешите с выводами, — спокойно ответил Сопоткин, — я ещё далеко не закончил. Так вот... Итак, нельзя ли заключить, что устройство мироздания, хотя и является слепым в своём бытии и развитии, вместе с тем, из-за наличия внутри него слабого человеческого разума, парадоксальным образом таковым не является? Ибо пронизано лучом света, озарено знанием самого себя? И что как раз в лице сего знания мы уже явно не принадлежим к *этому миру* и не подчинены его бессмысленным силам? Разве в душе любой из нас не жаждет совершенства?

— Да что же удивительного в том, что при очевидной чудовищной дисгармонии окружающего нас хаоса, мы, люди, одарены вдобавок печальным свойством стремить-

ся к невозможному? Бесплодно томиться по какому-то смутному и призрачному, но идеальному миру, — не сдержался Костромиров. — Ведь это именно и следует расценить как лишнее свидетельство слепой стихийности жизни. Как очередное досадное недоразумение, насмешку природы.

— Но можно расценить и ровно обратным образом! — возразил Сопоткин, тоже с горячностью. — Если вдуматься в этот заложенный от рождения в нашей груди мечтательный образ иного, совершенного миропорядка, коли пристальнее взглядеться в него, так невольно возникает вопрос: а не является ли как раз он тем самым *настоящим, подлинным* миром? И не есть ли, в таком случае, окружающая нас эмпирическая действительность всего лишь декорация? Иллюзия. И даже пусть не иллюзия, пускай мы, и правда, бессильные пленники этого вещного и тварного мира, а наш внутренний духовный бунт против его преходящей убогости — обречённая на провал затея... Пускай! Но всё же никто не в силах отнять у нас смутного воспоминания о той другой, подлинной нашей родине...

Костромиров возмущённо всплеснул руками и в сокрушении покачал головой — здравый смысл его явно был оскорблён, а логика грубо уязвлена последним высказыванием приятеля.

— Короче говоря, вы предлагаете удовлетвориться воображаемым Богом и воображаемой «истинной жизнью»? Это уж, право слово, епископ Беркли какой-то! Этак вы скоро докатитесь до солипсизма, приметесь отрицать существование материи, станете утверждать, будто, кроме духов, всё окружающее — не более, чем наши собственные субъективные представления, они, дескать, существуют, лишь будучи воспринимаемыми... Между прочим, не пренебрегайте «Кьянти», я заметил, вы пьёте только второй бокал. А вино отменное. Вероятно, походит по вкусу на знаменитую ирландскую настойку, ради которой преосвященный Беркли как раз и забросил напрочь свои учёные занятия... Те самые, что привели его к упомянутым выводам. Говорят, ещё и заявил при этом, что продукция местных винокуров веселит душу почище всякой философии...

Константин Петрович последовал совету Костромирова и отдал должное виноградному напитку, затем продолжил с прежним, если не большим, воодушевлением:

— Но разве вы станете отрицать, что, может быть, изредка, в совершенно исключительные моменты частных раздумий, даже и вы сами оказывались способны не только *мечтать* о вечности или о полноте удовлетворенности, но на краткое мгновение и *испытывать* их?! Уверен, что, несмотря на весь скептицизм, и вам не раз открывалась истина: ваше собственное искание смысла жизни — при всей его кажущейся неосуществимости — само есть проявление в вашей душе реальности искомого! Да, да! Стоит только отвыкнуть от негодной привычки считать единственной реальностью окружающее нас извне, стоит только обратить должное внимание на реальность собственного внутреннего мира, как приходит великое понимание того, что *не всё* бессмысленно, что в самом нашем искании, в самой неудовлетворенности ничтожеством жизни обнаруживается присутствие и даже действие начал, противоположных её ничтожеству и её бессмысленности. Искание Бога и вечности уже есть действие Бога и наличие вечности в душе человека!

— Ага, иными словами, тезис ваш таков: жизнь бессмысленна, но изначально бесплодный поиск в ней *высшего* смысла как раз и придает ей *реальный* смысл. Так?... Увольте, это не для меня. Не то же ли это самое, что пытаться утолить жажду, любуясь этикетками бутылки? — Костромиров щёлкнул ногтем по наполовину опорожнённой ёмкости с благородным напитком. — Больше всего на свете я ненавижу ничем не оправданный оптимизм, утешительные надежды и самообман любого вида. В лицо реальности надлежит смотреть, не принимая желаемого за действительное. В противном случае мы рискуем уподобиться каким-нибудь древним египтянам... Если помните, у тех чрезмерная любовь к жизни трансформировалась в столь неумёмную заботливость о посмертном существовании, в такую жажду продолжения материального бытия даже и за гробом, что и весь смысл пребывания их на этом свете свёлся, в конце концов, к непрерывной подготовке к тому, чтобы не умереть, несмотря на смерть... Страх же перед бессмысленностью бытия как раз сродни страху смерти, о котором мы с вами давеча уже толковали... Между прочим, ваши потуги обосновать необходимость и сугубую полезность веры напомнили мне одну поучительную историю с Эдвином, королём Нортумбрии...

— И что же это за история? — спросил Константин Петрович, невольно усаживаясь поудобнее. — Не расскажете?

— С любовью и охотой, о великодушный Шахрияр, — усмехнулся Костромиров. — Только вот покончу с оладьями и раскурю трубку... Итак, средневековые хронисты свидетельствуют, будто этот строптивый англ Эдвин, будучи истинным представителем своего «варварского, свирепого и недоверчивого народа», всё никак не мог решиться воспринять слово божие, отринуть поганое язычество и обратиться в христи-

анство. Уж его специально присланный из Рима епископ Паулин уговаривал, сам *servus servorum Dei* Бонифаций Пятый одно за другим увещательные послания строчил, даже парочку чудес нарочно для сего Фомы неверного организовали, а он всё ни в какую, мнётся да кочевряжится... Наконец, постановили созвать большой совет из знати, подручных вождей и дружины да и рассмотреть означенное дело окончательно и бесповоротно. Ага... После того как преподобный Паулин, по обычаю, в очередной раз привел доводы в пользу учения Христа и, соответственно, против мерзостного идолопоклонства, выяснилось, что большинство танов, гезитов и элдорменов и без того давно склоняются принять новую веру, ибо не видят в старой ни достоинства, ни пользы. Но Эдвин и тут не оставил своих колебаний. Жалко ему было, видите ли, предавать пагубные заблуждения отцов и дедов... Тогда поднялся некий *optimatus*, знатный муж или эрл, и сказал следующие замечательные слова: «Быть может, ты припомнишь, о король, что случается иногда в зимнюю пору, когда ты сидишь за столом с дружиною; посреди зала в очаге пылает огонь, согревая тебя, а снаружи на дворе бушует зимний ветер, льёт дождь, кружит снег и воеет вьюга. И вот иной раз в такое время быстро пронесётся через зал мелкая пичуга, ничтожная птаха, влетит в одну дверь и вылетит в другую. В тот краткий миг, что она внутри, зимняя стужа не властна над ней, и от того мгновение это приятно для пернатой твари; но — увы и ах! — сколь быстро пронеслось оно! Не успеешь задуматься и глазом моргнуть, как несчастная птаха уже исчезла с очей твоих, уносясь из стужи в стужу!.. Такова и жизнь людская на земле и её стремительное течение, когда сравнить его с бесконечностью, которая предшествует и последует. И неведомо нам, что будет и что было прежде. А ведь то и жутко, что невозможно познать. Не есть ли это самое мучительное? Коль скоро же новое учение обещает нам дать верное известие и положительное знание именно о сём предмете, как не принять оно?» Речь эта показалась настолько убедительной, что даже сам верховный жрец Игга-Водана, Бога воронов и Отца павших, воспрял со своего возвышенного седалища и воскликнул с волнением: «О, король! Раз новая вера дарует мне спасение от смрада могилы, вечную жизнь в придачу с вечным блаженством, так она хороша! Всеконечно хороша!» — тотчас вскочил на коня, вооружился и поскакал крушить подведомственные ему капища. Эдвин же, сын Эллы, исполнился наконец благодати духа святого, крестился и повелел поскорее осквернить все прочие языческие кумирни и священные рощи... Как видите, дорогой Константин Петрович, и у народов севера именно чаяние воскресения мертвых и надежда на «жизни будущего века» питали рост симпатий к новой вере. Именно несбыточная мечта обрести таковым образом смысл жизни и, хотя бы частично, избавиться от страха смерти мощно содействовала распространению между ними христианства...

— А что случилось потом с этим вашим Эдвином, королём Нортумбрии? — прервал Костромирова Константин Петрович.

— О, с ним всё вышло вполне даже благополучно, — заверил приятеля Горислав Игоревич. — Буквально через пару лет после крещения он схлестнулся с валлийским королём Кадваллоном Лаухиром и Пендой, могущественным владыкой Мерсии. Обычные территориальные разборки, распри из-за уделов и вотчин. Ага. И в год от воплощения Господа 633-й был вчистую разбит и сложил голову где-то в Йоркшире; вся армия его также оказалась порубана или рассеяна, погибли и оба сына его, внуки... короче, весь род вырезали... Нортумбрия же, обречённая «мечам и пожарам», вновь вверглась во тьму презнего идолопоклонства и невежества. По крайней мере, на некоторое время. Но поскольку пасть королю-христианину Эдвину посчастливилось от рук короля-язычника, он был немедля объявлен мучеником веры, причислен к лику святых и, таковым образом, восхищен прямоиком в царствие небесное. Как и мечтал. М-да... Только вот с головой его случилась какая-то неразбериха, путаница какая-то там произошла... В общем, пропала голова. Ну, прямо как и в вашей легенде о Безголовом призраке.

— О Безголовом призраке... Святые угодники! Да неужели вы сами не видите... То, что вы рассказали, это всё, простите меня, история, «дела давно минувших дней»... Но неужто вы не видите, как именно сегодня — сегодня! — в наше время отказ от традиционных христианских ценностей толкает Европу в пропасть?! Не замечаете, как атеизм разъедает умы и души, деморализует народы посредством привнесения кощунственных сомнений в сферу сакрального? В сферу устоявшихся святынь. Как гнилые воды секулярного потопа поглощают или размывают последние опоры культурной идентичности Запада. Я сам, к примеру, демократ и, в некотором смысле, либерал, но и меня с души воротит наблюдать, как гибнет былая христианская цивилизация. Нешто вам это безразлично?

— Окститесь! Безразлично... Разумеется, не безразлично... Но при чём тут, скажите на милость, отказ от христианских ценностей? И почему именно христианских? Может быть, просто — от любых моральных устоев. Нынешнее состояние Европы,

да и вообще западного мира, — это как раз результат гипертрофированного понимания и, если хотите, гипертрофированного развития институтов вашей разлюбленной демократии. Главное же — толерантности, этого донельзя уродливого порождения пресловутого либерального проекта. Как я уже говорил, неолиберализм сам стал для Запада этаким глобальной псевдорелигией. Враждебной всем традиционным нормам морали и нравственности. Христианство тут вообще ни при чём... В противном случае мы обязаны признать, что до Константина Великого, до Медиоланского эдикта 313 года европейцы жили звериным обычаем, не имели понятия о добре и зле, гнобили друг дружку почём зря и с упоением уничтожали разницу между полами. Обязаны признать, что Перикл и оба Плиния по определению хуже каких-нибудь Шпренгера с Инститориом. Ибо последние были, без сомнения, верующими христианами, а первые — погаными язычниками. Я уж молчу о разных там (*horribile dictu!*) материалистах вроде Гераклита, Ван Чуна и Лукреция Кара... Впрочем, Ван Чуна я не к месту приплёл, ну да ладно...

— Многие убеждены, что как раз эти самые материалисты, а особенно «гуманисты» Нового времени и заложили традиции извращённого антропоцентризма. Насладились пагубной уверенностью во всеисилии человеческого разума. Повадились подвергать уничтожительной профанной критике то, что критике изначально не подлежит — возвышенный объект веры. А есть ли вернее способ разрушить ценностный фундамент европейской культуры? Порождать деструктивные социальные идеалы.

— Разумеется, невежество куда как удобнее и полезнее для человечества. Торжествующий фидеизм — это ли не искомая идеология? Для чего вообще пытаться критически осмыслить что бы то ни было? *Sancta simplicitas* — вот наш вечный идеал! Да скроется разум, да здравствует тьма! — вот наш неизменный девиз. И совершенно неважно, что невежество, даже навязанное обществу под видом добродетели, все равно остаётся невежеством...

— Нет, тут уж, Горислав Игоревич, увольте! Относительно природы добродетели я с вами никак не соглашусь. Хотя, помнится, вы уже высказывались по этому поводу... Но я снова повторю...

Костромиров жестом остановил собеседника, отпил из бокала, закусил остатками тешёной грудинки, потом прибавил:

— Да, сразу хочу оговориться, внести, так сказать, ясность: при всём при том, я с большим уважением отношусь к нашей церкви. Как к важной части культурного наследия. Уверен, что репрессии против неё были одной из политических ошибок большевиков. Собственно, я совершенно солидарен в этом вопросе с профессором Сергеем Петровичем Капицей... Помните, он как-то написал или сказал, что, дескать, не имеет с Русской православной церковью никаких разногласий, кроме одного-единственного, притом малозначительного — церковь считает, что Бог выдумал человека, он же убеждён, что всё как раз наоборот...

— Это понятно. Но я вновь повторю: добродетель важнее любого просвещения. Неизмеримо важнее! А ведь именно и только религия является источником нравственности! Отрицать тот очевидный факт, что десять синайских заповедей есть краеугольный камень всей нашей морали — по меньшей мере глупо.

— Ха! А как быть с представителями политеистических религий? Ведь, например, у синтоистов нет ни Священного писания, ни декалога, ни вообще каких бы то ни было религиозно-нравственных предписаний. *Ergo*, согласно вашей логики, японцы — люди аморальные. Так, что ли? Я уж молчу об индусах с их тридцатью миллионами божеств... Да и вообще, понятие общественной нравственности — вещь весьма относительная. Если вам взбредёт в голову блажь прогуляться голым по центру Москвы, вас совершенно справедливо задержат за злостное хулиганство, а в том же Бомбее — примут за монаха-дигамбара и не обратят ровно никакого внимания.

— Язычники — отдельная тема, а Восток, как известно, — дело тонкое. Давайте ограничимся христианским миром. Вот что, Горислав Игоревич! — Сопоткин отставил в сторону частично опустошённое блюдо с образцами диковинных сыров, свирепо сверкнул на собеседника стёклами очков и решительно пододвинул к себе страшный чёрный пудинг. — Я всё понял. Вижу, мне не одолеть вашего заскорюзлого, безнравственного и закоснелого в материалистических заблуждениях сознания, не достучаться до истинной вашей сути. Вы настоящий замороженный мамонт, высохший и законсервированный обломок души язычника-эскимоса. Жалкий невольник естественного порядка вещей! Несчастливая жертва, отравленная ядовитой слюной скептицизма, эпикурейства и даже гедонизма самого вульгарного толка. Короче, натуральный Сарданапал... И девизом-то вам следовало бы выбрать известное притчаение Исаяи: «Да ямы и пиём, утрие бо умрём».

— «Потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться». Екклесиаст, глава восьмая, стих пятнадцатый.

— Бросьте, бросьте, профессор! Из Писания можно надёргать цитат на любые случаи жизни.

— Без сомнения.

— Так оставим философические экзерсисы. Я, знаете, не силен в философии, всю жизнь путаю герменевтику с герметизмом. А уж разбираться с заумью какого-нибудь феноменолога типа Хайдеггера — благодарю покорно! — легче удавиться... Но я уже говорил, повторю и снова: вы всё одно не заставите меня изменить точку зрения, не убедите в бессмысленности моего собственного существования... Примириться с тем, что человеческая личность — воистину бесценное сокровище, ибо она единственная осознаёт сама себя во Вселенной, — так вот, смириться с тем, будто бы эта самая личность — не более чем пламя серной спички, мгновенная искра, безвозвратно гаснущая во мраке небытия, я никогда не смогу. Да и не желаю... Для меня наличие тесного сродства человека с мирозданием, наличие пуповины, связывающей его с вечным, непреходящим, — не подлежащая доказыванию аксиома. Человеческая душа — не что иное, как единая нота чудесной неземной мелодии, мельчайшая составная часть, капля какого-то неизведанного потока, струящего свои таинственные воды из загадочных глубин Вселенной... Приведённый же вами пример Эдвина из Нортумбрии доказывает, на мой взгляд, лишь одно: вера, как своего рода «духовный инстинкт», изначально присуща всем людям. Тот, кто живёт, — верит, даже если считает себя чуждым религии. Пусть бессознательно, но он ориентирован на некий высший смысл своей личной жизни и бытия мира в целом. Это и есть смутное, невыразимое предощущение реальности божественного. Вот так вот...

— Не сомневаюсь, — ответил Костромиров, — нисколько не сомневаюсь, что я вас не убедил. Люди абсолютно не изменились. И прежде, и теперь мы готовы на любые уловки мышления, на всечасное попрание законов разума и очевидности, на всё что угодно, только бы замаячил где-нибудь вдали туманный призрак осмысленной, а главное, вечной жизни. Несчастные человеческие существа! Мы нуждаемся в утешительных иллюзиях, даже умерев. Тот факт, что, когда человека больше нет, он попросту перестает быть, — для нас непереносим. Только самообман и тщательно лелеемое неведение делают жизнь смертных относительно сносной... Нам даже недостаточно сотен уже существующих религий, и мы постоянно придумываем все новые и новые...

— Повторяю, оставим этот бесплодный спор!.. И вообще, я, честно говоря, в самом начале спрашивал о другом: меня интересовало, каким же методом или набором методов вы руководствуетесь при изучении своего предмета, истории? Ну, коль скоро вы напрочь отвергаете возможность всяких далекоидущих обобщений в этой сфере науки?

— Да никаким! — Костромиров пожал плечами. — Или, вернее будет сказать, мой метод — есть отказ от догматического следования любым методам, отказ от всякой нарочитой систематики и универсальной проконструированности представлений об истории... Историк не должен стремиться уложить предмет исследования в прокрустово ложе формальных схем, непременно доводить своё видение исторического процесса до тезисной ясности и, в конечном итоге, неизбежно упрощать его... Ему должно быть чуждо желание с ходу «оседлать» першерона истории, отягощать его бессмысленной поклажей: сенсационными абстракциями, универсалистско-глобальными подходами, философией, методологическими изысками и сомнениями. Его мысль обязана пребывать в безмятежном созерцательном покое, он призван *sine ira et studio* добиваться максимальной ясности и конкретности при изложении материала с помощью самого минимума оформительских конструкций, категорий и попыток всегда предвзятого осмысления целого. Материал должен говорить сам за себя. Именно в этом я вижу искусство историка.

— М-да. Значит, опять-таки никакой тебе философии истории? Никакой осмысленности?

Горислав Игоревич негодуяще фыркнул.

— Вот ведь! Далась вам эта чёртова осмысленность... Коли вы так уж о ней печётесь — то, ради Бога! Обращайтесь тогда, по крайней мере, к древним. Хоть какая-то польза... В конце концов, согласитесь, любая философско-историческая концепция восходит либо к Гесиоду, либо к Демокриту с Лукрецием. По большому счёту, подавляющая масса «философов от истории» тщится доказать, будто человечество движется от «золотого века» к варварству или, напротив, — от полуживотного состояния к чему-то вроде «золотого века». Ну, на худой конец, подобно Посидонию, пытается сварганить какую-нибудь сборную солянку из двух этих основополагающих концепций. Так что ничего принципиально нового и в современных теоретических выкладках вы не найдёте. Вряд ли найдёте... По мне, лучше всего — сугубая безыскусность.

— Интересно... Ну и кто же из наших отечественных историков вполне соответствует или хотя бы наиболее отвечает таким требованиям? Кто же? Назовите!

Горислав Игоревич задумался на минуту, потянулся было к трубке, потом ответил:

— Карамзин, наверное... Может быть, ещё Погодин... Но в первую голову, именно Николай Михайлович Карамзин.

— Пф-ф! Вот-те на! Карамзин! А как же его беспрестанное морализаторство? «Нравственные уроки истории». Ярый монархизм и безусловная вера в прогресс. Как же его фетиш сильной и самодержавной власти государства? Это ли не догматизм?

— А что такого плохого в сильной государственной власти? — пожал плечами Костромиров. — Не вижу в этом ничего плохого. Разве государство вообще может существовать без сильной власти? Ну что вы, в самом деле! «Слабое государство» — это же *contradictio in adjecto*, то есть вовсе не государство. Государство просто обязано быть не только сильным, но мощным. Да, именно так — мощным! Причём во всех своих проявлениях и ипостасях... В этом смысле трудно не согласиться с Розановым: большие батальоны на границах Отечества и околоточный надзиратель внутри него — куда важнее сонма профессоров, литераторов и вообще всех нас, интеллигентов, вместе взятых... И правда, уберите с улиц любого крупного города на денёк полицию — сами увидите, что получится. В лучшем случае, всё ограничится массовыми грабежами, мордобоем и погромами. И это, повторяю, в лучшем случае! Никакой «категорический императив» Канта не спасёт, уж поверьте. Пока не придумано иного, более совершенного устройства для людских сообществ, человек будет нуждаться в порядке, порядок же немыслим без государства, а последнее нуждается во власти.

— Да. А власть нуждается во лжи, — вставил Константин Петрович.

— Я о другом: как не относиться к теориям и методам основоположника русского сентиментализма, не они главное в его труде... Я назвал Карамзина, ибо он первый и едва ли не последний наш историограф, в достаточной мере свободный ещё от представлений об истории как исключительном поле действия разных жёстких и, по большей части, выдуманных закономерностей. Этакой химической реторте на столе у всевышнего. По мне, подобная безыскусность его куда как выше партийной зашоренности какого-нибудь Костомарова или, прости Господи, Иловайского, тем паче — досужего умствования всяких там никчёмных Кавелиных, Арцибашевых и Милюковых...

— Пойдите, а Ключевский? Как быть с профессором Ключевским? Его вы тоже записали в «партийные» историки?

— Разве я сказал о нём хоть одно худое слово? Василий Осипович — великолепный историк. Кто бы спорил. И что немаловажно: достаточно взвешенный и осторожный в оценках. Просто, на мой вкус, в нем чересчур сильна соловьёвская школа. Отсюда — попытки дать всему, даже и частным фактам, логическое объяснение. А исторический процесс отнюдь не подчинен строгой логике.

— А, понятно! Разумеется, логика никак не согласуется с вашей гипотезой спонтанности истории.

— Именно. Так вот, о Карамзине... Обвинять его в том, что он якобы «не объяснял и не обобщал, а живописал, морализировал и любовался», столь же логично, как укорять Линнея в игнорировании теорий Дарвина. Ещё Веселовский писал, что по своей авторской добросовестности, по неизменной воздержанности в предположениях и домыслах именно Карамзин навсегда останется для нас недостижимым образцом. И я совершенно с ним согласен... Да! О Степане Борисовиче Веселовском я и позабыл! А ведь сей скромный «учёный-фактограф» и «монографист» сделал для русской истории не в пример больше, чем все «творцы» теорий и концепций вместе взятые. На работы его можно полагаться, как на фотографические снимки; взять те же «Исследования по истории опричнины» — отыщется ли там хоть слово, *не основанное на источнике*? Вот это и есть, по моему разумению, *summa meriti*...

— Одну минуту. Вернёмся к вопросу об авторитаризме. Важен ведь сам характер государственности. Не станете же вы отрицать, что у нас со времен Ивана III высшей ценностью является государство. Разве правильно, разве хорошо, когда не государство обслуживает людей, а, напротив, люди — государство?

— Так это старый спор. Но тут, уж простите, вы не найдёте во мне союзника. Нет, не найдёте! В данном вопросе я полностью разделяю мнение одного из моих учителей — профессора Александра Петровича Каждана.

— В чём же оно состоит? Мнение вашего очередного наставника.

— Он говорил о двух издавна существующих и при этом полярно противоположных системах: «общество для человека» и «человек для общества». То есть речь идёт не о том, будто, как вы выразились, нехороший Иоанн III или — что куда более популярно — извращённые коммунисты столкнули Россию с единственно правильного пути (*free market* и т.п.), а о том, что есть две системы, в которых государство только и может себя оформить. У нас исторически сложилась система второго порядка, вот и всё.

— Ну, это не ново...

— Согласен. Однако суть в другом. Если провести сравнительное исследование

этих двух систем, то окажется, что именно в рамках второй из них — «человек для общества», или гегельянской (а уж Гегель был не глупее фон Хайека), — род людской и сумел достичь самых впечатляющих, самых блестящих результатов за весь период своего развития.

— Блестящих результатов? Не забывайте, вы, в сущности, говорите о тоталитаризме!

— Ну да. И именно эта тоталитарная, или, если быть точнее, авторитарная, государственная модель создала все величайшие мировые цивилизации — от Египта до Рима и Константинополя, от Китайской империи до Советского Союза. А в чём достижения демократии?

— Ха! А как же Афины?

— А что Афины? Разве не демократия погубила Афины? Будьте уверены, именно она, ваша разлюбезная демократия. Покуда в Афинах была крепкая власть, они процветали, как только власть ослабевала, демократизировалась — приходили в упадок. И, в конце концов, пали окончательно, сумев сохранить остатки культурного наследия только под сенью державных римских орлов. Как тут не согласиться с Геродианом, который именовал эту самую демократию не иначе как «старинной болезнью» греков. Тяжким недугом, порождавшим кровопролитные раздоры, чрезмерную страсть к сутяжничеству, унижение страны и — самое главное! — пагубную привычку «беспрепятственно истреблять самих себя»!

— Кто как не близкий вам по духу материалист Демокрит утверждал, что бедность и неустойчивость в демократическом государстве надо предпочесть тому, что называется счастливой жизнью в государстве деспотическом. Ибо таковая бедность настолько же лучше упомянутого счастья, насколько свобода лучше рабства.

— Вот и попробуйте объяснить это умирающему с голоду нищему где-нибудь в Латинской Америке, на Гаити или в Демократической республике Конго. Любопытно, что он вам ответит?

— Аристотель писал, что демократии, как и монархии, могут быть плохими и хорошими.

— Разумеется. Но это ведь камешек в ваш огород. Значит, дело не в системе, а в её качестве. Вот, например, Византия. Вполне себе авторитарное, по вашим понятиям, государство. Не только колыбель православия и хранительница сокровищ античной Эллады, но и прямо-таки тысячелетняя лаборатория авторитарного опыта. Не так ли? При всём при том возьмётся ли вы с уверенностью утверждать, что этот авторитаризм и погубил Византию? Или, может, напротив, именно он и дал восточной половине Римской империи силы, чтобы выстоять в столкновении с варварской стихией? Была ли Ромейская цивилизация отравлена ядом «западничества», феодальной анархии или, наоборот, как раз недостаточное развитие западных элементов подорвало её сопротивляемость азиатскому давлению?

— Мне, как стороннику демократического пути, безусловно, ближе гипотеза о пагубной роли всякого тоталитаризма.

— Ой ли? А в течение тысячи лет Византия только выживала? Выживала вопреки, так сказать, собственному строю? А может, вообще социальная и политическая структура Ромейской империи не оказала существенного влияния на её судьбу? И империя пала благодаря комбинации случайностей — будь то дурные правители или неослабный влиятельный натиск на её восточных и северных, а позже и западных границах? Есть у вас однозначные ответы на эти вопросы? И вообще... Вот мы с вами сколько уже лет... десять, а то и все пятнадцать лет живём при так называемой демократии, и что? Наблюдается невиданный расцвет культуры? Наука движется вперед семимильными шагами? А? Где сонмы «быстрых разумом Невтонов»? Легионы Шолоховых с Булгаковыми. Где когорты новых великих поэтов и манипулы выдающихся композиторов? Где они?

— Эка хватили! Да ведь таланты — не грибы, от дождя с солнышком не рождаются.

— Так от чего же они рождаются? Нешто от морозов? Что же способствует если и не появлению, то развитию таланта? Нет, что ни говорите, а благоприятная среда многое значит... Да взять хоть мою дисциплину... Скажите мне, Константин Петрович, почему освобождение от уз марксистской цензуры не создало ничего даже близко лежащего к классическим работам крупнейших советских историков? Не потому ли, что мы больше заняты разоблачением «тоталитарного» прошлого, сладострастным смакованием репрессий и копированием давно протухших западных школ?.. И тут возникает закономерный вопрос: нужна ли вообще культуре демократия? Или в более мягкой форме: всегда ли демократия благотворно воздействует на культуру? Я уж молчу о крайней форме этой самой демократии — современном либерализме. Воздействие последнего на культуры равнозначно, на мой взгляд, воздействию вируса бешенства на любой живой организм... Вот и говорите мне после этого, что мир вокруг нас всё

совершенствуется и совершенствуется...

— М-да... Кто-то сказал, что Христос хотел переделать человека, чтобы мир стал лучше, а Цезарь — мир, чтобы лучше стал человек.

— Вот-вот. И я, как вы догадываетесь, полностью на стороне Цезаря. Ибо терпеть не могу прекраснодушные утопии.

— Уф! Ну что ж, похоже, и на сей раз мы с вами останемся по разные стороны баррикад. Оставим же и этот спор. Вы, кажется, что-то говорили о вашем идеале ученого-историографа?

— Ах да... Я, собственно, желал лишь подчеркнуть, что наш брат, историк, обязан руководствоваться только истиной. Не межклановыми интересами, политикой (избави Боже!) или иными какими высокими идеями — одной только истиной!.. Ибо я убежден, что учёный, равно как и судья, не имеет права даже в частном, мелком, незначительном выдавать за установленный факт собственные домыслы и предположения. Пускай даже из самых лучших побуждений... Именно здесь коренится моя нелюбовь к обобщающим формулировкам. Право, историку куда пристойнее промолчать о каком-то не совсем ясном предмете, нежели создавать у читателя иллюзию знания, на самом деле не существующего... А что толковать о современных представителях моей науки? У большинства из них пренебрежение к фактам, нежелание искать эти факты в источниках и обрабатывать пагубным и парадоксальным образом сочетаются с непомерно завышенным самомнением и постоянными претензиями на широчайшие и ни на чем не основанные обобщения, всевозможные «метаисторические» изыски... Налицо явная попытка подменить упорный, кропотливый труд исследователя игрой в общие фразы. А всё отчего? А всё оттого, что после торжества так называемого философского взгляда на историю, никто уже не осмеливался уклониться от создания или поддержки хоть какой-то, хоть самой завалыщенькой организующей концепции. Почти никто. В этом-то и беда. А как я уже сказал, *любая* концепция обязательно, с неизбежностью ядерного распада порождает неодолимое стремление пренебречь фактами, в неё не укладывающимися... Ага. Тут уж вы мне поверьте... Так что к дьяволу концептуальность! — провозгласил Горислав Игоревич, поднимая бокал. — Ваше здоровье!

— Но вам не кажется, — не успокоился Сопоткин, — что при таком подходе история превращается в простую хронику происшествий, холодную и равнодушную?

— Нет, не кажется. Но если выбирать между хроникой и нарочитой субъективностью, то есть чем-то произвольным, а потому ничего не стоящим, я выбираю хронику. Повторюсь: настоящим делом ученого должен быть поиск истины. Не смысла, а именно истины. Ибо всегда ли можно назвать таковую осмысленной?

— М-да... Признаюсь вам, Горислав Игоревич... Не обижайтесь, но в историю, как науку, я не верю. Собственно, вы сами только что доказывали мне, будто никому не дано знать законов её развития, принципов исторического процесса... О какой же науке тогда может идти речь? Но вот как раз в историю как поэзию, как фундамент любви к своему Отечеству, как нравственную основу, объединяющую народ в почитании предков, в такую историю я верю.

— Вот оно что? В таком случае вам, Константин Петрович, должно быть абсолютно без разницы, правдива такая история или насквозь лжива. Не находите? Ведь даже намного лучше, если она будет совершенно легендарной. Благородная легенда и героическая сказка трогают, восхищают и воодушевляют гораздо сильнее, нежели действительность, которая зачастую значительно менее привлекательна для воображения и даёт не столь много поводов для гордости. Разве не так?

— Может быть. Однако согласитесь, юношеству скорее понятна именно опозитивированная история, пускай даже изрядно приукрашенная. Только такая история и может служить воспитательным целям.

— Ага. Совершенно с вами согласен. Это не только уместно, но и абсолютно необходимо. Школа должна воспитывать патриотов своего Отечества. Именно в этом её основная задача. В противном случае мы получим поколения «иванов, родства не помнящих», безразличных к судьбам страны, а то и ярых ненавистников собственной Родины... Но мы ведь не о школьной истории толкуем, а об истории как науке... Разумеется, гордиться славой своих предков — важно и нужно. Любовь к Отчизне — основа государственности, без патриотизма любое государство обречено. Любое!.. Вместе с тем, историограф, придерживающийся *исключительно* воспитательных принципов, неизбежно сам обречён льстить народу, адресовать ему бесчисленные приторные объяснения в любви, петь бесконечные дифирамбы. Так не привьёт ли он читателям, вместо законной гордости своим прошлым, чудовищную (а потому смехотворную) манию величия? Не заставит ли он их почитать себя за исключительных, богоизбранных созданий, только и достойных всяческого поклонения?.. Да ведь еще Гиббон писал, что жадность к нелепым вымыслам касательно прошлого величия особенно свойственна

нациям, влекущим жалкое существование в настоящем...

— Вряд ли цитаты могут служить убедительными аргументами в споре.

— Не верите? Вспомните тогда страну восходящего солнца. Едва только столкновение с мощью западной цивилизации в середине XIX века породило у японцев комплекс неполноценности, как они тут же озаботились утверждением собственной «идентичности». Выволокли на свет божий идеи Хирата Ацутанэ, пыль смахнули, и пошло-поехало: Япония — старейшее государство земного шара, живительный исток всего мало-мальски ценного в этом мире, в том числе, календаря, письменности, пирамид, слонов и эллинской философии; все расы зародились в Японии, а все верования — лишь слабые отражения универсального синтоизма. И, само собой, именно японские боги-ками, выступая под разными именами и личинами, были единственными реально действующими персонажами мировых религий. Ибо кто суть Будда, Христос и Магомет, если не простые манифестации-аватары великой Амаэрасу? Даром что та женского рода... Ничего не напоминает?

— Эка куда вас занесло! Япония позапрошлого века...

— Ну что ж, можем рассмотреть и более свежие примеры. Далеко ходить не надо. Разве местные ирландские учёные не тщились в своё время совокупить в противоестественном союзе кельтов с пунийцами? Возвести род свой к Баркидам. Имея в виду, разумеется, в первую голову Ганнибала. Как там у Байрона? «Душа Дидоны в Эрине живёт — так должен думать каждый патриот»... Или возьмите хотя бы современных малороссийских «историков». Мало им, глядите-ка, что предки их (такие же «осколки» Киевской Руси, как и население Северо-Востока), оказавшись волею судеб на периферии, «украине» Речи Посполитой и крепнувшей Московии, переплавлялись в подобие «особливой» народности в кровавой борьбе со всеми возможными поработителями. Но и не без значительного культурного влияния последних. Не героично как-то! Вот и принялись измышлять мифических прародителей — разных там волхвов-укров да пеласгов с этрусками, отождествлять легендарного князя Кия с Аттилой, а себе, любимым, приписывать создание «Ригведы», не говоря уж о всём прочем мировом эпосе... Более того, пытаются канонизировать всевозможных нацистских упырей типа Бандеры и Шухевича! Одновременно очерняя всё русское и, тем паче, советское... Вот уж истинно «славних прадилов великих прауноки погани»... Придумали внедрять убудочную «галицайскую мову», которая столь же отлична от литературного украинского, сформировавшегося на основе киево-полтавского диалекта, как блатная феня — от русского языка. Нынешний украинский уж никак не назовёшь языком Котляревского и Шевченко. Все эти «тримати» да «чекати», «полициянты» с «блазениями» и прочие полонизмы...

— «Буты чи нэ буты — ось дэ заковыка!» — с чувством продекламировал Константин Петрович.

— Ага. Лишь бы исключить любую родственную связь с «клятыми москалями», с великороссами, обыкновенным ответвлением, разновидностью коих и являются, — продолжал Костромиров, нетерпеливо обрывая не вполне уместную, по его мнению, реплику приятеля. — Помяните моё слово, аукнется ещё сим витиям-маразматикам насаждение и пестование агрессивно-невежественного национализма, тотальная шизофренизация сознания собственного народа. Ещё как аукнется! Думаю, не слабее, чем в сорок пятом немцам с их фетишем национальной исключительности. А может, и помизрабильнее... Раскурочат страну, превратят в очередной этнический лепрозорий, мусорный полигон Европы вроде Албании или Косово... А вы говорите, нравственное воспитание... Нет, нет! Пускай героическая поэзия служит целям нравственного воспитания, истории же оставьте события и факты, её дело — канувшая в Лету действительность, а совсем не нравственность. К тому же они обыкновенно не в ладу друг с другом.

— Честно говоря, мне-то куда чаще доводилось сталкиваться с совершенно иными, даже противоположными тенденциями, — возразил Сопоткин. — Не объяснения в любви, не дифирамбы, но иеремиады, слезливые причитания и андромахины плачи. Вот что скорее можно услышать в среде нашей творческой интеллигенции.

— А не нужно тусоваться на псевдолиберальной помойке. Что же ещё вы хотели услышать от всех этих с их лакейской озлобленностью? Для них лишь за кордоном — свет в окошке. Привыкли заморские сапоги вылизывать... Да эти флагелланты лбы готовы порасшибать — правда, в основном чужие, — замаливая мнимые грехи русского народа перед всем прочим, «цивилизованным» человечеством. Только и знают, что вопить в неизбывном уничижительном угаре: «Покайтесь, окаянные!» Будто мало мы уже каялись... Пора, как говорится, и честь знать... В советском прошлом они видят одни очереди за дорогой их сердцу туалетной бумагой, преследования полоумных диссидентов и склонных к мазохизму правозащитников да невозможность демонстрировать в Манеже чудесные инсталляции из загаженных стульчаков... Гыгычут

над пресловутой «эпохой застоя»... А ведь я уверен, будущие историки станут писать о «брежневской эпохе» не иначе как о «золотом веке Антонинов» советской империи... Короче говоря, это вовсе не противоположная тенденция. Это лишь обратная, полярная сторона всё той же тенденции творить из истории служанку политики и идеологии.

— Фу-фу-фу! Эдак вы и до оправдания марксизма докатитесь.

— А что марксизм? Как говаривал упомянутый мною профессор Каждан, сколько уж яду вылито на его мягкое темечко... И все-таки именно марксизм породил знаменитую школу *Annales* — никуда от этого не уйти, и он же зачастую побуждал к широкому, а не сугубо местечковому видению прошлого... Маркса стоит уважать уже хотя бы за то, что он не отрицал определяющего значения *случайности* в истории, писал, что иначе она, история, была бы абсолютно мистической вещью... Да, марксизм вызвал к жизни государственную систему, отягощённую весьма значительными пороками, но и с безусловными достоинствами и с безусловными достижениями. Разве те же двадцатые годы прошлого столетия не принесли колоссальный расцвет культуры? Возьмите любой род искусства — будь то поэзия, проза, театр, кино, музыка, архитектура или живопись — и вы не сможете опровергнуть сего очевидного факта. А наука? Впрочем, об этом мы уже говорили...

— Святые угодники! Да это же танец на гробах, натуральный пир во время чумы!

— Возможно. Но всё-таки был и пир! А относительно танца... Да ведь всё существование человеческой цивилизации — это, так или иначе, танец на гробах. Вы попытайтесь-ка доказать французу, что он обязан отплеваться от своей великой революции. Дескать, славить оную кровавую вакханалию — значит танцевать на гробах, возводить на пьедестал упырей типа Сансона, Сен-Жюста и Марата с Робеспьером... То же и с нашим коммунистическим проектом... И как не насилуй историю, однако совсем не *D-Day*, а Сталинград стал поворотным моментом в мировой войне. Сколько ни мажь чёрной краской «тоталитарное прошлое», многие люди шли на смерть именно за социалистическое Отечество. За социалистическое! То есть как раз во имя марксистской идеи.

Константин Петрович задумчиво покачал головой.

— А вы, оказывается, консерватор, Горислав Игоревич! Махровый консерватор.

— Конечно, консерватор. Но без религиозной составляющей.

— И такое возможно?

— Как видите.

— Да уж! — с ехидной усмешкой воскликнул Константин Петрович. — Вижу, вы вполне можете повторить вслед за Алексеем Константиновичем Толстым: «Двух станю не боец».

— Именно так, — согласился Костромиров.

— Глядите, как бы вам не уподобиться летучей мыши, которую, если верить баснописцам, не приняли в свои ряды ни звери, ни птицы.

— Да на здоровье! Всё лучше, чем мессианская мания величия либо холуйское самобичевание с обязательным целованием штиблет «просвещенного» Запада.

— Ладно... Воля ваша, но мне, всё одно, представляется, что историография не должна быть сухим академическим трактатом, занудным повествованием о судьбе и деяниях какого-нибудь народа в известный период. Её призвание в ином: она обязана воодушевлять, вызывать восторг, любовь и гордость за значительное прошлое и надежду на ещё более прекрасное будущее.

Костромиров рассмеялся:

— Короче, преследовать пропагандистские цели? Да? Ну что ж, с такими взглядами, уважаемый Константин Петрович, вам, и правда, прямая дорожка в стан ко всяким там пивторакам-плачиндам с их идиотскими украи-ариями, а наипаче — к отечественным миролюбо-кандыбовцам, бесноватым жрецам «Велесовой книги» и последователям профессора Чудинова, великого и ужасного... Ну, знаете, тем энтузиастам, что предпочитают выводить историю нашего народа из нижнего палеолита, свято верят, будто парантропы с австралопитеками общались (а то и переписывались) промеж собой на чистом русском языке, регулярно ищут и находят надписи кириллицей в трещинах египетских пирамид и среди узоров лунных кратеров, а равно убеждены, что именно наш родной язык являлся тем всеобщим меганаречием, предел коему положило опрометчивое сооружение Вавилонского столпа. Дескать, иначе какое же величие?

— Это уж чересчур, — улыбнулся в ответ Сопоткин. — Вы меня ещё в приверженцы Фоменко с Носовским зачислите.

— Ну что вы! И не думал, — благодушно заверил его Костромиров. — Если такие исследователи, как Гумилёв или Тойнби, пускай и склонны к необузданному фантазированию, но полезны уже хотя бы в качестве сильнейшего раздражителя нашей мыс-

ли, то всё, что касается творцов «Новой хронологии» и иже с ними, это уже не проблемы науки, это проблемы психиатрии... Вы не передадите мне корзинку с фруктовым хлебом? Он выглядит аппетитным.

— Между прочим, Горислав Игоревич, — обратился Сопоткин к историку, выполняя его просьбу и передавая хлебницу, — я заметил, что безумие вы рассматриваете исключительно как деструктивное начало. Но разве возможно отрицать, что зачастую именно необычные состояния человеческого духа образуют его творческое зерно, являются порывом к более высокому существованию... Не помню, кто именно, но, по-моему, очень верно заметил, что люди, не носящие в себе никакого безумия, суть люди пустого, непродуктивного ума.

— Готов с вами согласиться. Но лишь отчасти. На мой взгляд, всё это верно в отношении художественного творчества. К науке же, напротив, такой тезис явно неприменим, даже пагубен, а главное, очень опасен. Повторюсь: одержимость «сверхценными идеями» в науке до добра не доводит. Таковые «идеи» хороши, точнее, позволительны лишь шизофреникам, но никак не учёным. Впрочем, это ведь очевидно. Разве нет?

— Нисколько не очевидно. Помнится, Нильсу Бору принадлежит изречение: всякая физическая теория должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться правильной.

— Ну и что? Это ведь не более чем один из множества парадоксов, которыми так любит забавляться и тешить себя любое научное сообщество. Подразумевается, что наука, чтобы двигаться вперёд, должна постоянно творить радикально отказывающиеся от традиционных взглядов — и только в этом смысле «безумные» — идеи. Идеи, рвущие с тысячелетней замшелой традицией — то есть «безумные» в самом высоком и вполне научном смысле этого слова. Впрочем, очень скоро и они проходят путь от «безумия» к репутации колумбова яйца, становятся привычными, естественными, «единственно возможными», чуть ли не априорно присущими познанию и, во всяком случае, «очевидными». Тогда появляется необходимость в новых «безумных» идеях, развивающих или полностью опровергающих прошлые...

— Это понятно, но...

— Разумеется, понятно! В этом и есть существо научного познания мира. Ведь оно, познание, — всего лишь вечный, нескончаемый процесс приближения к истине. Ибо высшей степени достоверности не существует. «Седьмого дня творения» в науке никогда не наступит... Скажу больше: познавая всё новые и новые законы и свойства мира, наука не только не уменьшает количества ещё не открытых законов и свойств, но, напротив, только множит таковые. В этом, кстати, её кардинальное отличие от метафизики. Оттого наука заведомо и проигрывает вере — она никогда не сможет предложить более высокую цену, чем её соперница... Теория познания доказывает, что любые научные объяснения *a priori* страдают хронической незавершённостью, а всякие мистические доктрины как раз и претендуют на абсолютную завершённость своей «системы доказательств», дают человеку обещания, уверения и гарантии, хотя и заведомо несбыточные, но от того не менее заманчивые... Наука не застрахована от ошибок и загодя уведомляет о невозможности найти ответы на все вопросы, религия же, напротив, претендует на окончательную определённую истину в последней инстанции. Далеко не каждый человек готов поступиться утешительными иллюзиями ради изначально лишённого экзистенциальных претензий, но честного знания... Порой кажется, что сам дьявол придумал поставить веру на рубежа познания...

— Ну-у, может быть... — неуверенно протянул Сопоткин. — Но отчего же в таком случае именно среди представителей точных наук столь много авторов всевозможных завирательных сенсационных теорий?

— Да, тут вы абсолютно правы, — с печальной улыбкой ответил Костромиров. — Есть такое дело. Естественников хлебом не корми, дай сказать новое слово в чуждых областях знания. Я уж молчу о кучкующей рядом с ними околонуучной шатии... Думаю, очевидно, кого я имею в виду. Взять, хотя бы некоего наверняка вам известного (из газет, разумеется!) врача-проктолога, что занят неутомимыми поисками по всему миру проходов в Шамбалу. Или — не в меру нахрапистого бывшего «шахматного гения», ну знаете, того самого, который недавно заявил, будто понимает в истории куда больше всех историков вместе взятых, ибо в совершенстве постиг теорию и практику развивающихся настольных игр... Да мало ли таких! Воистину, имя им — легион. Ей-богу, будь моя воля, так я, кажется, сажал бы подобных воинствующих невежд в тюрьму или на цепь. За преступное убожество мысли, а лучше — за перверсионную геронтофилию. Ага, именно так. Ибо они пытаются растлить старушку Клио, сотворив из бедняжки какую-то на редкость непотребную девку, размалёванную шлюху, вроде сверхмодной десакрализованной мифологии, по самые уши напиханной всеоглуляющей ложью их гнилого семени. Главное, чтобы она покорствовала всем их гнусным прихотям, всем извращённым фантазиям...

Почувствовав, что излишне разгорячился, Горислав Игоревич сделал глубокий вдох, медленно осушил бокал вина, затем продолжил:

— Что же касается самих учёных-естественников, так ничего удивительного в их сугубом пристрастии к неуместному теоретизированию в гуманитарных областях нет... Перво-наперво, большинство из них движимо пагубным высокомерием по отношению к иным, не сводящимся к «цифры» уровням знания и готово вслед за Резерфордом твердить, что «все науки делятся на физику и собирание марок». Отсюда — лёгкость ума и суждений необыкновенные. Дескать, коли допустима разная интерпретация, а тем паче датировка, одних и тех же событий, то и о какой-либо достоверности этих событий речи идти не может. Собственную дремучесть и nepозволительное невежество они склонны перекладывать на чужие плечи, повторяя, будто мантры, доводы о невозможности проверить исторические данные опытным, лабораторным, так сказать, путём, свести к уравнениям и формулам... Короче говоря, раз гуманитарные дисциплины не имеют якобы отношения к науке, так «гуляй, рванина»!.. Во-вторых, многие из них настолько глубоко, а следовательно — узко, специализированы в своей отрасли знания, что вне сферы таковой специализации доверчивы до глупости... А главное, проблема в том, что именно представители точных наук — самые большие идеалисты. Видите ли, они привыкли иметь дело с идеальными — математическими и физическими — структурами и прониклись убеждением, что и всё мироздание обязательно столь же идеальным, гармоничным, рациональным, а значит — осмысленным.

— Но разве это не так? — спросил Сопоткин с грустью.

— Конечно, не так, — недовольно проворчал Костромиров. — Я битых полчаса пытаюсь вам доказать, что это не так... Да вы и сами почти признали сей факт...

— Да, я понял, но это столь печально... — со вздохом согласился Сопоткин; казалось, ещё немного, и он примется ронять слёзы в бокал с «Кьянти». — То есть печально знать, что *вы* именно так думаете. А гармонии жаль. Очень жаль.

— Не отчаивайтесь, — поспешил успокоить приятеля Костромиров, — ведь в своих ощущениях вы не одиноки. А может быть — кто знает? — и правы. Я же не претендую на роль гуру, на истину в последней инстанции. Это совсем не свойственно по-настоящему научному подходу. Я лишь излагаю собственную — бесспорную лишь для меня самого — точку зрения. Между тем, и Эйнштейн, и Планк утверждали, что чем больше они занимаются наукой, тем ближе подбираются именно к идее о гармоничности универсума... Дескать, с давних времён, с тех самых пор, как существует изучение природы, оно имело перед собой в качестве идеала конечную, высшую задачу: объединить пёстрое и, по-видимому, хаотичное многообразие физических явлений в единую упорядоченную систему, а если возможно, то и в одну-единственную формулу. Путём чистой дедукции объяснить необъяснимую картину мира. Мол, в этом и состоит пророческий элемент научного творчества — пытаться узнать не только «как», но и «почему»...

— Приятно сознавать, что компания у меня подобралась вполне респектабельная, — сказал несколько приободрившийся Сопоткин. — Но вижу, сами вы несколько не разделяете оптимизма великих физиков?

— Увы. Онтологический рационализм мне и правда чужд. Хотя бы уже потому, что не учитывает элементы неопределённости и случайности. Основополагающие, как мне представляется, элементы... На самом деле, убеждён, со временем будет доказано, что эйнштейновская Вселенная, управляемая «изошрённо-хитроумными, но отнюдь не злонамеренными» законами, столь же ограничена и несовершенна, как и неподвижная, от века существующая Вселенная Ньютона или статичная небесная механика Лапласа. И чем глубже мы станем постигать нашу Вселенную, тем всё более бесцельной, а значит, и бессмысленной, она будет нам представляться. Ибо в мире вообще не существует ничего строго и безусловно детерминированного. Даже законы физики действуют далеко не всюду... Впрочем, непрерывное развитие и есть суть науки, не правда ли?

Константин Петрович отодвинул пустую тарелку из-под пудинга, положил на неё крест-накрест столовый прибор и сказал:

— К слову, о безумии и гармонии. А как же быть с античной идеей упорядоченного космоса? Дескать, в основе всего лежит целесообразность и гармония. По-моему, упомянутые вами Эйнштейн с Планком имели в виду как раз нечто подобное.

— Чуть! Извечное заблуждение идеалистов. Всё в мире движется от изначального хаоса к хаосу конечному. И вряд ли любой отрезок этого пути возможно назвать гармоничным.

— Ну, с вашим-то нигилистическим пессимизмом и в кристаллической решётке нельзя усмотреть ничего, кроме хаоса. Кто бы сомневался. Хаос — в начале дней, хаос — в конце времён... А промеж большим взрывом и всеобщей аннигиляцией универсума — тот же хаос, то есть отсутствие всякой гармонии, упорядоченности, осмыслен-

ности... Сплошная алеаторика. Увольте, не верю я в подобные концепции! Думается, надо всей нашей жизнью безусловно довлеет божественный промысел, а сотворение мироздания есть несомненный акт божественной воли. Господь не творит лишённый смысла хаос, напротив, преобразует оный в нечто возвышенно-прекрасное. Как по мне, так даже и общепринятая нынче в науке теория пресловутого большого взрыва крайне противоречива. Крайне! Далеко ей до безупречной стройности книги бытия...

Горислав Игоревич минуту молча рассматривал собеседника с какой-то отчасти сочувственной, отчасти сардонической ухмылкой, затем поинтересовался:

— Что вы помните из шумеро-аккадской мифологии? Например, о драконе хаоса Тиамат. Или Тиамту... Точнее, даже не о драконе, а о драконихе... Ничего? Мало?

— Дракониха хаоса? — с сомнением переспросил Сопоткин. — Шумеро-аккадская? Откуда, во имя всего святого? И что это за Тиамат такая? Признаться, из месопотамских преданий в памяти у меня застряли только Мардук да Иштар с Таммузом-Адонисом.

— Ну вот! А говорите, не помните ничего... — Костромиров расслабленно откинулся назад, устроился поудобнее и принялся с удовольствием попыхивать трубкой. — Между тем, если верить одной из десяти или одиннадцати известных науке вавилонских версий мифа творения, — она изложена на семи глиняных табличках, найденных в знаменитой клинописной библиотеке Ашшурбанипала, — *в начале ничего не было*. Кроме, разумеется, первобытного хаоса. Никто ещё не возник, и ничто не имело имени, не были определены жребии... Другими словами, не минуло и йоктосекунды после большого взрыва. Только «тьма над бездною» и дух Божий, носящийся над водами. То бишь над не оформившимися потоками энергии. А вот этим самым духом и являлась чудовищная Тиамат — персонификация изначальной стихии, воплощение мирового хаоса.

— Мне как-то библейский вариант ближе... — проворчал Константин Петрович.

— Да, они очень близки, — кивнул не вполне расслышавший реплику Костромиров. — Во всяком случае, некоторые из версий, несомненно, легли в основу книги бытия. Ага. И вот означенная Тиамат порождает богов хаоса — первобытных Апсу и Мумму. Те, в свою очередь, совокупившись с Тиамат, плодят бесчисленные поколения младших богов, всех этих Лахм и Лахаму, Аншаров и Кишаров, Ану, Энлиля и, наконец, премудрого Эа, чью волю века спустя жрецы-бару станут узнавать из шелеста тростника в Эриду... Однако родительских ожиданий молодежь, как водится, не оправдывает, пытается водворить порядок в хаосе, шумливо скрещивается и вообще безобразит... Короче, как может способствует инфляционному расширению Вселенной. Тогда Апсу, как до него египетская богиня Нут, а после — Кронос-Сатурн, решает изничтожить собственных деток. Его мать и жена Тиамат, кажется, не советует этого делать, но Мумму, играющий при них роль визиря, решает дело в пользу Апсу и рекомендует прибегнуть к самым суровым мерам...

— Каким мерам? — спросил Константин Петрович, воспользовавшись паузой в рассказе.

— Сожрать их всех, разумеется, — ответил Костромиров с плотоядной ухмылкой.

— А чему удивляться? Каковы ещё могли быть нравы при эдаком-то жестком промискуитете? Ага. Но молодые боги тоже не промах: они как-то прознают о грозящей опасности, и мудрый Эа, обратившись к магии, усыпляет и убивает Апсу, а Мумму связывает и лишает мужества... Помните, и в этом Крон позже SOBезьянничал. Когда пресек бесконечную плодovitость Урана с помощью простейшего сельскохозяйственного орудия...

— А с Тиамат что? — перебил Сопоткин. — Этот ваш Эа её тоже угробил? Или, может, стерилизовал?

— Нет, не угробил и не стерилизовал. Не сумел. И та, как вы понимаете, натурально жаждет мести. Шутка ли: потерять разом и мужа, и визиря-сожителя. В гневе творит она чудовищ: змей, гидр, драконов, рыбо-людей, человеко-скорпионов, пёсьеглазцев, ламассу, туманных призраков и прочих милых созданий; старший из оных исчадий — Кингу — становится вместо покойного Апсу её супругом, предводителем полчищ Хаоса и хранителем Скрижалей Судеб. Вот тут как раз за дело берётся упомянутый вами Мардук...

— Видимо, история повторяется, — с натянутой улыбкой заметил Константин Петрович.

— Что вы имеете в виду? — брови Горислава Игоревича удивлённо поползли вверх.

— Ну как же! Только на сей раз не я, а вы решили пощекотать нервы рассказами о чудовищах и призраках.

— Ах, вот вы о чём! В самом деле... — Костромиров задумчиво посмотрел на товарища. — В самом деле, некоторое сходство есть. Поглядим, окажутся ли схожими и последствия... Но моя повесть много короче. Собственно, она уже заканчивается... И так,

как я уже сказал, на сцене появляется вавилонский Зевес — бесстрашный Мардук. Именно к нему обращаются перепуганные боги с просьбой о защите от разгневанной драконихи хаоса. Тот соглашается, но взамен требует первенства в их сонме, а главное, скрижали судеб, буде таковые удастся добыть в битве с Тиамат и Кингу. Боги поначалу упираются, но хитрый Мардук угощает их вином, сородичи, как оно и принято среди небожителей, надираются до положения риз, «хмельной напиток лишает их смысла» и заставляет согласиться на все условия... Замечаете, какая интереснейшая параллель прослеживается с гелиопольским эсхатологическим сказанием о коварной Исиде, престарелом Ра и свирепой Хатор или Сехмет!.. М-да... Так вот, Мардук вооружается, восходит на колесницу и мчится навстречу своей судьбе, выкрикивая боевые заклинания и держа в руках «траву волхования». Воинство Тиамат приходит в ужас, но сама дракониха, увидав тщедушного по сравнению с ней бога, раскрывает огромную пасть, необъятную, как мировая бездна, и заходится в хохоте... Смешливость её и губит. Находчивый Мардук вгоняет в глотку зверюге подвластные ему семь ветров, вкупе с песчаной бурей, и Дракониха лопаётся от смеха, в буквальном смысле. Войско чудищ рассеяно, Кингу пленён. Ну, а дальше понятно: одну половину хаоса Мардук поднимает вверх и нарекает небом, из кишок, слизи и прочей требухи творит землю со всяким зверьём и растениями...

— И с человеком? — уточнил Константин Петрович, брезгливо передёрнувшись.

— Нет, до человека руки у него чуть позже доходят... Через какое-то время Мардук начинает соображать, что бессмысленные твари служить богам должным образом не в состоянии. И в самом деле, проку от них в этом плане немного, годятся разве что в качестве ингредиентов теургической продовольственной корзины... Вот тут-то ему и приходит в голову создать что-нибудь эдакое, особенное, наделённое искрой сознания и зачатками разума. Он вспоминает о пленённом им Кингу, забирает у того скрижали судеб, а после отрезает все его четырнадцать голов, смешивает ядовитую кровь чудовища со свежим навозом и лепит нас, людей...

— Тыфу! Пакость какая-то, — сплюнул Сопоткин. — Пакость, а не миф творения.

— Ну-ну, — насмешливо протянул Горислав Игоревич, вычищая пепел из погашенной трубки и вновь набивая её, — незачем расстраиваться по пустякам. У большинства ведь эдак-то. Я разумею, что редко какие легенды, мало какие теогонии и космогонии трактуют происхождение человека презентабельнее. Китайцы, к примеру, полагают, что род людской ведёт начало от паразитов на теле божественного, но, видимо, не слишком чистоплотного великана Пань-гу. Да и «прах земной» книги бытия многим ли лучше? Разве что... Вот ведь даже и на память ничего подходящего не приходит!.. Впрочем, в некоторых египетских папирусах люди именуются «слезами бога Ра». Более поэтичная версия, правда?

— Да уж!

— С другой стороны, в иных случаях, те же египтяне уверяли, будто кто-то из их божественной эннады — кажется, Атум — «высморкал человека из своего носа»... Представляете? Человечество как болезнетворная бактерия в мокроте сопливого бога.

— Даже и представлять не хочу, — поморщился Константин Петрович. — Повторяю...

— Вы меня простите, — прервал литератора Костромиров, — но мне, к сожалению, уже пора уходить. Очень важная деловая встреча, знаете ли. Отменить невозможно.

— Да-да, разумеется. Засиделись. Но сперва я, с вашего позволения, ненадолго отлучусь, — сказал Константин Петрович, поднимаясь из-за стола.

Костромиров молча кивнул. Константин Петрович промокнул губы салфеткой и направился к выходу, осторожно поглаживая заметно округлившийся живот и ворча: «Охти мне, многогрешному... Снова ночь не спать... А какая всё-таки отвратительная мифология у всех этих древних поганцев, будь они неладны».

Когда же, буквально через пятнадцать минут, он вернулся, то с удивлением и неудовольствием обнаружил, что кабинка пуста. На столе, рядом с приборами Костромирова, лежали деньги, судя по всему, с приличными чаевыми, да дымилась забытая профессором вересковая трубка. Видимо, Костромиров действительно очень спешил и предпочёл удалиться по-английски.

Константин Петрович взял трубку, поднёс к носу, принюхался, и ему почудилось, будто ароматный голландский табак, которым обычно пользовался учёный муж, почему-то на сей раз имеет отчётливо выраженный запах серы...

— Вот ведь, дьявол, — только и сказал Константин Петрович, уминая пепел большим пальцем и засовывая трубку в карман.